



ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 3 **Юрий РЫТХЭУ.** Лунный пёс. *Повесть*
23 **Валентин НЕРВИН.** По морю потерянных дней. Стихи
28 **Елена ОВЧАРОВА.** Молитва о поездке в лес. *Рассказ*
33 **Емельян МАРКОВ.** Маятник. *Цикл стихотворений*
38 **Максим ЕРШОВ.** Букет. *Рассказ*
45 **Ольга ОЛЕЙНИК.** Стихи
49 **Елена ШУМАРА.** Такой же, как я. Дантист Иванова. *Рассказы*
54 **Елена КОЛЕСНИКОВА.** Стихи

ГОСТИНАЯ «ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

- 59 **Анна ЦАРЕГОРОДЦЕВА.** Стихи.
65 **Александр БЕЛЫХ.** Стихи

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

- 70 **Наталья ЗАХАРЦЕВА.** Стихи

ПРОЗА. ДЕБЮТ

- 75 **Сергей СУЩАНСКИЙ.** Баба Маня. *Рассказ*

ПОЭЗИЯ. ДЕБЮТ

- 80 **Наталья КУЧЕР.** Стихи

ЭССЕИСТИКА

- 83 **Дмитрий АНИКИН.** Бенедикт Лившиц. Лира, а не флейта. *Эссе*

ПОЛКА ДРЕВНОСТЕЙ

- 89 **Мария ПОХИАЛАЙНЕН.** Миражи близ острова Бива. *Рассказ*

ОТКРЫВАЯ ПРОШЛОЕ

- 96 **Юрий СОЛОДОВНИКОВ.** Гоголевский бульвар. *Лирическое эссе*

ПЕРЕВОДЫ

- 105 **Вальтер КАБЕЛЬ.** Бедный паренёк. *Рассказ (пер. с нем. Е. Лебеда, коммент. А. Крашенинникова)*
109 **Из немецкой поэзии.** Ганс Густав Бёттихер (пер. с нем. Р. Адрианова, коммент. В. Пинковского)
114 **Из французской поэзии.** Жан Полониус (Ксаверий Лабенский), Амабль Тастю (пер. с франц. И. Ачкасовой, коммент. В. Пинковского)

Главный редактор –
Светлана Склейнис

Редакционная коллегия:
Ольга Атаманова
Александра Дашкевич (ответственный секретарь)
Виталий Дмитриев
Борис Орлов
Елена Первушина
Виталий Пинковский (зам. главного редактора)
Александр Скоков

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке ссылка на журнал «Изящная словесность» обязательна.



Юрий
РЫТХЭУ

К 95-летию со дня рождения Ю. С. Рытхэу

ЛУННЫЙ ПЁС

Повесть

Огромная, покрытая снегами тундра простиралась во все стороны и круто обрывалась у моря с торчащими обломками льдин. Над этим простором сияла белая Луна, заливая всё вокруг ровным светом.

Тишина висела между небом и снежным миром, между тундрой и скованным льдами морем, и казалось, что всё кругом мертво, лишено всякой жизни. От застывшей земли, замерзшего моря и даже от этой нависшей тишины веяло звенящей стужей. Ледяными иглами мороза был пронизан неподвижный воздух.

Но вот что-то зашуршало под снежным козырьком, нависшим над морским припаем. Сначала показались вытянутые в длину тени. Они возникали из едва заметного входа в скалистую пещеру, прикрытого торосом, а потом послышался собачий лай, звонкий, тотчас разорвавший пелену застывшей тишины.

Первым из пещеры выполз Четырехглазый, старый пёс с густой пятнистой шерстью. Над острыми голубыми глазами, на лбу у него виднелись два белых пятна, в точности повторяющие очертания глаз. Вслед за ним и остальные собаки. Они собрались вокруг Вожака. Более старшие – ближе к нему, а самые маленькие щенята – у самого дальнего ряда.

Все внимательно следили за Четырехглазым. Приблизился священный миг, и без Вожака никто не мог нарушить тишину зимней тундровой ночи. Даже самые крохотные щенята, похожие на меховые комочки, притихли и уставились на старшего. Он медленно поднимал вверх свою острую морду, направляя её на полную Луну.

© Рытхэу А. Ю., наследник, 2025.

• **Юрий Сергеевич Рытхэу** (1930–2008) – советский, российский и чукотский писатель, переводчик, основоположник чукотской литературы. Писал на чукотском и русском языках. Родился в пос. Уэлен Чукотского района Дальневосточного края (ныне Чукотский автономный округ). Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова (1954). Первый сборник рассказов «Люди нашего берега» вышел в 1953 году. Автор книг прозы «Чукотская сага», «Время таяния снегов», «Сон в начале тумана» и других. Произведения автора переведены на многие иностранные языки. Его книги выходили в Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Индонезии и др. Член Союза писателей СССР (1954).

Сначала Вожак как бы пробовал голос, настраивал его, начиная с низких нот, стелющихся по снежной поверхности; звуки отрывались от широко раскрытой пасти и катились по сугробам, падали вниз на стоящие торчком расколотые льдины, взлетали и угасали вдали, теряясь в густеющей у горизонта темноте. Вой Четырёхглазого усиливался, густел, обретал плотность и прочность, и он уже не терялся, а снова возвращался в раскалённую собачью пасть и уже с удвоенной и утроенной силой устремлялся вперёд, превращаясь в звуковой луч.

И тут один за другим к голосу вожака начали вплетаться голоса отдельных собак. Сначала низкие, хрипловатые завывания старых кобелей и сук, затем сильные, матёрые зрелых псов.

А уж за ними звонкие голоса исторгли из своих пастей юные кобелята и сучки, и в самом конце отрывистое тявканье щенков растеклось по густеющему звуковому лучу, направленному на сияющую в небе Луну.

Морды с раскрытыми пастьями были обращены вверх, и собачьи взоры прикованы к светлому холодному диску, откуда на землю изливалась стужа вечности.

Всё тундровое пространство от горных отрогов Хребта до Морского побережья наливалось космической музыкой собачьего воя.

Создавалось впечатление, что вместе со стаей выли дальние и ближние собаки, жители холодных стран и обитатели жаркого юга, где никогда не замерзает море и снег лежит только на вершинах высочайших гор.

Собачий вой то затихал, почти умолкал, то вдруг снова обретал силу и напряжённость и заново обрушивался на притихшую Землю, заполняя всё вокруг, не оставляя места никакому иному звуку. Быть может, для несобачьего населения земли это был просто собачий вой, но для тех, кто совершал священное Лунное Песнопение, он был полон смысла.

Идущие на четырёх ногах,
Затаившиеся в ледяных и в каменных пещерах,
Слушайте наш голос!

Молодой кобелёк, только что вышедший из щенячьего возраста, выл вместе со всеми, подняв морду к Луне. Собственный вой, усиленный звуками других собак, приподнимал его над Землей, и кобельку казалось, что он парит над заснеженным простором, приближается к Луне. И что-то всё-таки отличало его от остальных собак. Быть может, особый блеск его глаз, гладкость тёмной шерсти, необычный тембр голоса и, самое главное, ярко выраженное стремление приблизиться к краю единственного ночного светила на небе и кусить его.

Но это случалось только на самой сильной ноте воя, когда звуковая волна подхватывала всю стаю. Кобелёк старался изо всех сил. Он исторгал из себя звук такой силы, что уже сам не слышал его, и мог судить о его мощи только по тому, как он стремительно приближался к лунному светлому кругу, чувствуя нарастающее неодолимое желание ухватить зубами блестящий край. Наконец это ему удалось. К удивлению, вкус Луны оказался пресным и прохладным, как тающий на весеннем солнце снег. Вместе с проглоченным лунным куском кобелёк почувствовал, как меняется что-то внутри него, словно в его кожу внедряется иное существо.

Согласно старинным преданиям, вкусившие Луну становятся избранными, они обретают необыкновенные способности, которых нет у простых собак: они могут

понимать всех животных, от крохотных комаров до морских великанов – китов. В одно мгновение превращаются в других животных. Даже в людей. Но в превращении в человека таилась какая-то опасность.

Вой слабел. На восточной половине неба появилась красная полоса, и по мере её усиления слабел и затихал собачий вой.

Дневной рассвет в полярную ночь на какое-то время побеждает синюю мглу, возникает очерченный дальними остроконечными хребтами горизонт, лишь остаются залитые непробиваемой темнотой и заполненные до краев стужей долины, похожие на незаживающие глубокие царапины на покрытой плотными снегами земной поверхности.

И вдруг словно отрезало неким острым резцом, и последний звук откатился от собачьей стаи, упал на морской лёд и медленно ушёл вдаль, где в трещинах плескалась тяжёлая океанская вода. Новообращённый Лунник посмотрел на небесное светило. Светящийся диск был уже не такой идеально круглый. Сбоку виднелась какая-то щербинка. Может быть, это след его зубов?

Собаки медленно возвращались в скальную пещеру. Семена позади стаи, молодой кобель слышал: Лунник, Лунник... Теперь это была его новая кличка.

Он шёл позади двух молоденьких сучек, от которых остро пахло чем-то завлекающим, призывным. Лунник чувствовал, как напрягается его горячий колышек, запрятанный между ног, а кончик его даже чуточку высунулся из мехового мешочка, не ощущая режущей стужи. Он уже знал, что это такое: природа звала его к соединению с собакой противоположного пола. Именно от этого единения рождалось новое поколение арктических собак. Желание затуманивало сознание, но главная сила была в напряжённом, сочащемся соком розовом кончике, и Лунник уже был близок к тому, чтобы взобраться передними лапами на манящий круп сучки, но его грубо оттолкнул большой кобель и ловко взгромоздился на неё, едва не повалив на снег. Несколько судорожных движений – и кобель медленно сполз, но не отошёл от покрытой суки, накрепко склеенный с ней. Когда ещё маленьким щеночком Лунник увидел такое, он не на шутку перепугался, но теперь он знал, что единение продлится лишь какое-то время и потом собаки расцепятся, умиротворённые и довольные содеянным.

Молодые собаки последними вошли в пещеру и сгрудились возле Четырёхглазого, чтобы выслушать очередное поучительное повествование.

Собаки уже знали в общих чертах свою историю. Она состояла из двух частей, как и полагается истории. Первая часть её терялась в тумане прошлого, в сумерках обкусанных и съеденных Лун. По ней выходило, что собаки поначалу состояли в близком родстве с волками – сильными хищными зверями, которые, несмотря на явное сходство с собаками и даже похожие обычаи, в настоящее время почти не соприкасались с ними и держали себя отчуждённо и высокомерно, словно стыдясь своей схожести.

Они считали собак предателями, променявшими вольную жизнь на рабство у двуногих, или, как они ещё назывались, у людей. Двуногое существо, человек, первым из четвероногих приручил собаку. Первые приручённые собаки поначалу даже радовались этому, считали себя почти что людьми. Они свысока посматривали на других животных, считали их намного ниже, ставили себя даже выше белого медведя, великана морских глубин кита, рогатого оленя, горного барана, а волков вообще презирали. Приручённые собаки в своей гордыне нередко даже отгрызались на своего хозяина – человека.

Двуногий прямоходящий человек вообще был странным животным. По большому счёту он не должен был существовать. Его кожа была лишена шерсти, и жировой слой такой тонкий, что он не выносил стужи. Для сохранения внутреннего тепла нуждался в шкурах, которые отнимал у других зверей, лишая их жизни. Одежда у человека состояла из нескольких слоев. Особого внимания требовали конечности – руки и ноги. На ноги летом напяливалась обувь, сшитая из кожи нерпы и лахтака, а зимой – из оленьего меха. Да ещё в два слоя: внутренняя шерсть – к коже, внешняя – волосом наружу. Но этого ему было мало. Человек возводил жилище, вносил в него огонь, где было порой так жарко, что он раздевался донага, обнажая едва покрытые редким волосом гениталии.

Умение добывать огонь делало человека высшим существом.

А собаки служили ему средством быстрого передвижения по земной поверхности, так как человечья скорость была невелика, а долгий пеший путь истощал его до изнеможения. Они были как бы дополнительной физической силой человеку. Люди не могли держаться на поверхности воды, быстро тонули, не умели подниматься в воздух и парить над землёй. Детёныши у них рождались такими слабыми и беспомощными, что собакам надо было откусить почти двенадцать Лун, чтобы новорождённый пошёл, в то время как оленёнок вставал уже через несколько мгновений после того, как покидал материнское лоно, не говоря уже о самих собаках.

Словом, несмотря на огромное самомнение и важность, двуногий на самом деле был изначально мало приспособлен для жизни. Чего нельзя было у него отнять – так это ум. Человек был изобретателен в облегчении своего существования. Хотя такие простые вещи, как общение между разными племенами, у них часто наталкивалось на обоюдное непонимание. Эти двуногие, считавшие себя умнейшими и высшими существами, были разделены языковыми барьерами!

И ещё: двуногие не могли превращаться в других существ. Они были обречены жить в одном и том же облике, и внешность их менялась только с возрастом.

Лунник уже всё это знал, и это знание рождало жгучее любопытство, и эта жажда познания мира звала его за пределы каменных стен пещеры. Хотелось не только заглянуть за ту линию, где соприкасались небо и земля, куда уходили Луна и Солнце, где рождалась заря и умирал день. Порой молодой пёс украдкой пробирался к входу и выглядывал наружу, ожидая увидеть нечто необычное, ещё не познанное. С одной стороны, огромность и бесконечность мира давила, с другой – обладала неодолимым зовом, заманивала неизвестностью и обещанием удивительного.

Собаки лежали в пещере тесной кучей, так было теплее. Лунник чувствовал с двух сторон острый плотский запах вождения, исходящий от двух молоденьких сук, которые соперничали между собой и старались привлечь его внимание. Одна из них начинала его лизать, нежно дотрагиваясь горячим шершавым языком до его морды, пушистых ушей, тёплого живота, опускаясь всё ниже, до промежности, где в меховом чехле покоилось кобелиное достоинство. Одного горячего дыхания, одного нежного прикосновения было достаточно, чтобы розовая палочка налилась горячей кровью, напряглась и показала свою красную головку.

Но Лунник сдерживал себя: он знал, что, если станет отцом, ему придётся навсегда остаться в стае, заботиться о потомстве, добывать пропитание, охранять своих от нападения врагов: волков, росомх, лис и песцов, бурых медведей и

даже ворон, которые могли заклевать новорождённых щенков. Он предчувствовал, что мгновение наслаждения быстро заменится равнодушием и пламя страсти погаснет, оставив горстку пепла воспоминаний.

Мир был полон опасностей, но тем сильнее был зов познания.

Четырёхглазый позвал Лунника и лизнул в морду. Он любил своего младшего сына и испытывал к нему особую собачью нежность.

– Ты почему отворачиваешься от сучек?

– Я не хочу жениться на собаке.

От удивления Четырёхглазый широко зевнул, показав ещё крепкие, но уже изрядно стёртые жёлтые клыки.

– Но природой заведено так, что каждая порода живых существ продолжает себя через себе подобных, – заметил Вожак. – Ты не нерпа, не лахтак, не птица, не белый медведь, не морж... Или ты совсем не хочешь жениться?

– Когда-нибудь я женюсь, – ответил Лунник. – Но не на собаке.

– Чем тебе так не понравились наши молодые сучки? Гляди – они не сводят с тебя глаз, трутся около тебя, обволакивая запахом желания. Эх, будь я помоложе... А ты хорошо подумал?

– Завтра на рассвете, когда Луна ещё раз будет обгрызана, – ответил Лунник, – я ухожу.

– Одинокий пёс, – заметил Вожак, – рискует погибнуть ещё в самом начале пути.

– Я воспользуюсь даром превращений, – уверенно ответил Лунник.

– Однако не забывай, что изначально ты – собака. И никогда не поддавайся соблазну превратиться в человека. Это гибель для тебя. Оттуда уже нет возврата.

– Я всегда буду помнить о своём благородном происхождении, – гордо ответил Лунник.

Весть о том, что Лунник уходит из стаи, мгновенно распространилась среди собак, и больше всех опечалились молодые сучки, влюблённые в этого красивого, ладного, полного мужественной силы кобелька. Многие мысленно осудили его, но другие пожалели, что у них не хватает решимости так круто изменить жизнь.

Сам Лунник уже чувствовал некое отчуждение от остальной стаи, внутренняя дрожь пробегала по его телу от мысли о будущих приключениях. Что его ждёт впереди? Как сказал Четырёхглазый Вожак, мир полон опасностей и, если не быть осторожным, можно расстаться с жизнью уже на пороге скальной пещеры. Несмотря на кажущуюся безжизненность, зимняя тундра кишит голодным зверьём, затаившимся в засаде, чтобы напасть на зазевавшегося. Прежде всего, дикие волки, не брезговавшие своими дальними родичами – собаками. Стерегла свою добычу осторожная россомаха, белый песец пластался по снегу, стараясь слиться с белизной. Даже чёрные вороны низко стлались над снежной поверхностью. Главным лакомством для них были тундровые мыши-лемминги. Цепкими острыми когтями они разрывали сугробы, выискивая мышинные ходы. На тундровую охотничью тропу иногда выходил белый медведь, когда сильная стужа затягивала льдом все трещины и разводья. Моржи и нерпы – главная добыча умки – уходили в морские глубины или искали неприметные отдушины, чтобы глотнуть живительного воздуха.

Но выбор был сделан. Лунник уже смотрел другими глазами на своих сородичей, на своих братьев и сестёр одного помёта, на свою мать, которая, едва

откормив его и других своих щенят, уже родила от другого кобеля и отдалилась от своего родного отпрыска.

И всё же Лунник чувствовал некоторое сожаление: удастся ли ему вернуться целым и невредимым в свою свору? Конечно, он мог в любое время переменить своё решение, и, странное дело, именно эта обретенная свобода выбора укрепляла его в мысли, что он на верном пути, он уже не может отказаться от избранного будущего. Она решительно отрезала путь назад.

Ближе к вечеру, когда Луна показалась над горизонтом, Лунник вгляделся в неё и с удовлетворением увидел щербинку на краю светлого круга. След своих собственных зубов. Ночное светило, перед тем как подняться выше в небо, у самого горизонта казалось огромным шаром, слегка желтоватым, но по мере подъёма оно светлело, наливалось белизной.

Собачья стая питалась от огромной туши дохлого кита, выброшенного осенними штормами на берег и замороженного в лёд. Половина зимы прошла, а туша всё не уменьшалась, хотя её рвали зубами не только собаки из стаи Четырёхглазого, но и россомахи, лисы, песцы, мышки-лемминги, чёрные вороны. Особенно много было ворон. Почти невидимые днём, они слетались к вечеру и занимали самую хребтину кита, где уже торчали белые, хорошо обглоданные огромные позвонки.

Собаки рвали китовый жир снизу, откуда уже можно было достать до мяса. Лунник сначала полакомился белым китовым салом с чёрной прослойкой кожи, затем сунул морду поглубже в дыру, чтобы достать до мяса, и вдруг услышал писклявый голосок:

– Осторожно! Лучше подождать, пока насытятся большие звери. Иначе они задавят нас.

Лунник огляделся. Кто же обладал таким тонким голоском? На щенячий вроде не похоже. Лунник посмотрел себе под ноги и заметил отбегающих от него мышей-леммингов. Так вот кто разговаривал! Значит, он и впрямь начал понимать речь других зверей!

Он прислушался, и с хребтины вмерзшего кита до него донёлся хриловатый, низкий голос:

– До чего ненасытный народ эти собаки! Они всегда хватают лучшие куски! Луну грызут, оставляя небо тёмным. Только их дальние родичи волки могут сравниться с ними по прожорливости.

– А мне уже порядком надоело это китовое мясо, – ответил другой вороний голос, похоже, принадлежащий самке.

– Скоро волки начнут охотиться на новорождённых оленят, – напомнил первый Ворон. – Вот тогда и мы попируем!

Лунник наслаждался своей новообретенной способностью. Он даже забыл, зачем пришёл, отошёл от китовой туши и копошащихся в ней своих родичей и поднял уши, чтобы улавливать речения других зверей.

В дальнем конце, у самого китового хвоста, возились россомахи. Но они мало говорили между собой, больше переругивались, отнимая друг у друга лакомые куски:

– Это мой кусок! Куда съешь свою морду! Заткни свою пасть!

Насытившись, стая собак потрусила к своему логову, чтобы приготовиться к всеобщему вою. Луна уже высоко стояла в небе, соблазнительно сияя своей белизной, как бы приглашая самых смелых и отчаянных подняться на острие всеобщего пения, чтобы откусить край ночного светила.

Лунник выл вместе со всеми. Но он уже стоял сзади, не очень напрягал свой голос и думал о том, что скоро, когда взойдет заря на востоке, а Луна, снова надкусанная уже другой собакой, уйдет на край неба, он отправится в свою пещеру.

Света уже было достаточно, чтобы отличить морской лёд от земли, покрытой толстым слоем снега. Пёс спустился к торосам и остановился. Он бросил последний взгляд на место, где под скалами таилось родное логово. Земля, на которой обосновалась стая Четырёхглазого, представляла собой остров Илир. Но это обнаруживалось только летом, когда таяли льды, окружающие землю, и открывалась вода.

Луннику предстояло преодолеть ледовое пространство, нагромождения торосов и разводья с открытой, но быстро замерзающей водой. Для этого надо превратиться в одно из морских существ, для которых жизнь в ледовом море обычна и привычна.

Можно стать белым медведем. Зверь он сильный и жестокий. Бывало, что они выбирались на остров. Давили росомах и песцов, но собакам из стаи Четырёхглазого пока удавалось избегать прямой встречи с хозяином морских льдов. Умка, похоже, был вечно озабочен добыванием пропитания. Он умел плавать, преодолевать широкие морские трещины с открытой водой, но надолго погружаться в пучину не мог.

Морж. Большое клыкастое чудовище. Когда Лунник впервые увидел вылезшего на морской берег моржа, щенок не на шутку перепугался и со всех ног убежал прятаться в пещеру. Перед осенними штормами моржи во множестве вылегали на дальней галечной косе, резвились в пенном прибое, но больше спали под еще тёплыми солнечными лучами. Их храп далеко раздавался по округе. Иногда, чего-то испугавшись, они беспорядочной гурьбой бросались в воду и часто давили до смерти детёнышей. Тогда с ближайшего тундрового холма прибегали полакомиться стаи голодных росомах и линялых летних песцов. Они жадно рвали острыми зубами кожу и тёплое мясо, и очень скоро от детёныша моржа оставался только хорошо обглоданный скелет да белый череп с пустыми глазницами и рядом белых клыков.

Нет, Лунник почему-то не хотел превращаться в моржа.

Он бежал по замерзшему морю, повинуюсь неведомому зову, внешней силе, которая вела его мимо стоявших торчком ледяных торосов, по плотному снегу вперед, в неведомое.

Небо потускнело, посерело.

Зато на востоке на стыке неба и замёрзшего моря всё ярче разгоралась заря, и близкие к горизонту льды окрасились в алый цвет, словно из небесной щели излилась холодная кровь.

А потом потускнела и сама заря, и Лунник увидел впереди полоску белого тумана. Он как-то сразу догадался, что это открытая вода, а белый туман – это поднимающийся в холодный воздух тёплый пар.

Лунник остановился на краю ледяного берега. Он сел на снег, поднял морду вверх и завыл. Послышался всплеск воды, и на поверхности подёрнутого морозным паром разводья показалась головка вынырнувшей из воды нерпы. Огромные блестящие глаза уставились на Лунника, и он услышал:

– Прыгай в воду!

Словно кто-то невидимый подтолкнул Лунника, и он бутлыхнулся в воду, взвизгнув от испуга. Это был его последний собачий звук. Погрузившись с головой в толщу холодной воды, он увидел невообразимо нежный цвет, густеющий вниз до плотной синевы, а над собой светлый оттенок того же цвета и успел подумать о том, как прекрасен морской лёд, если смотреть на него снизу. Лунник, как большинство четвероногих, имел врождённую способность к плаванию. Он стал изо всех сил бить по плотной холодной воде передними лапами и вдруг почувствовал, как эти лапы странно укоротились, стали широкими, превратились в настоящие ласты. Тело обрело необыкновенную лёгкость, плавучесть, и он уже без особых усилий всплыл на поверхность открытой воды. Рядом с собой он увидел блестящую головку нерпы и обращённые на него большие ясные глаза.

– Это я позвала тебя.

Лунник оглядел свои короткие и широкие ласты, покрытые блестящими волосами, и удивлённо произнес:

– Значит, я превратился в нерпу?

– Да ты стал нерпой.

Лунник предполагал, что его превращения будут сопровождаться какими-то необычными ощущениями, возможно, страданиями и неудобствами, но превращение в нерпу произошло естественно и незаметно.

– Теперь ты будешь жить с нами, – произнесла нерпа. – Вон как нас много!

То тут, то там на гладкой поверхности стали показываться другие нерпы. Они смотрели на новообращённого с любопытством. Некоторые подплывали ближе, хлопали новенького по его жирным бокам. Лунник чувствовал себя так, словно всю жизнь был нерпой, плавал в студёном море. Глубоко нырял и гнался за рыбами. Когда он был собакой, рыба ему не очень нравилась, и он ел её, только когда ничего другого не было. Лучшей едой всё-таки было мясо, особенно чуть подпорченная китятина, горы которой остались на покинутом берегу.

Первая нерпа, которую он мысленно так и назвал Первой, всё вертелась вокруг него, помогала ему осваиваться в новом для него мире.

Больше всего Луннику понравилось плавать в морской пучине. Толща холодной воды, уходящая в невообразимую чёрную глубину, оказалась куда более населённой, нежели полярная, покрытая снегами тундра. Чаще всего попадались рыбы. Одни медленно и важно проплывали мимо, лениво махая большими плавниками, роняя на ходу едкие замечания по поводу встречных морских животных, другие проносились так стремительно, что их как следует и не разглядеть. Нерпы кормились в больших косяках, забираясь внутрь скопища мелких рыбёшек. Надо было только широко разевать рот, и сама пища, ещё живая, трепещущая, входила в раскрытую пасть. Если попадалась рыба покрупнее, то её легко было разгрызть острыми зубами. Толстый слой подкожного жира лучше самого густого меха защищал от холода, состояние лёгкости, почти невесомости в воде создавало весёлое и радостное настроение.

Первая не отходила от Лунника, и остальные нерпы как бы молчаливо признали её особые права на новичка. Одна пожилая нерпа даже проронила:

– Может быть, это её будущий муж.

Услышав это, Лунник искоса глянул на Первую. Видимо, она была ещё очень молода и ещё не рожала. Шкура у неё была ровная, чистая, короткая шерсть плотная и ровная. Она позволяла хорошо скользить в воде, и Луннику часто

приходилось догонять подругу, которая, явно играя, убежала в зелёный сумрак глубины.

Но время от времени нерпам надо было выныривать из воды, чтобы отдышаться и набрать живительного воздуха.

К утру от ночных морозов замерзали разводья, и, чтобы добыть глоток воздуха, нерпы собирались вместе и своим горячим дыханием протаивали небольшую лунку, чтобы можно было только высунуть голову.

Лучше, когда образуется разводье, когда морское течение раздвигает и ломает ледяные поля и появляются глубокие трещины. Одни быстро смыкаются, другие становятся как бы берегами большой поверхности открытой воды. Но при сильном морозе вода быстро затягивается льдом, и нужно усилие многих нерп, чтобы проделать отверстие для дыхания.

Некоторые лунки для дыхания сверху покрывались куполом тонкого льда, и тогда достаточно было слабого толчка нерпичьей головы, чтобы пробить его и вынырнуть хотя бы на несколько мгновений, чтобы запастись свежим воздухом.

Когда Лунник впервые проделал это, Первая похвалила его, но предупредила:

– Будь осторожен! Часто нашего беспечного сородича подстерегает умка – белый медведь. А то и двуногий Человек.

Умка отличался невероятным чутьём и терпением. Обычно на замерзшей ледяной поверхности едва заметно возвышалось несколько лунок, покрытых ледяными куполами. И нерпы могли вынырнуть в любую из них. Умка устраивался возле лунки и превращался в неподвижный ледяной торос. Он знал, что рано или поздно какая-то из нерп постарается вынырнуть как раз под ним.

Лунник однажды стал свидетелем такого случая: как только голова нерпы показалась над поверхностью воды, неодолимая сила подхватила её, и Лунник в последнее мгновение увидел только мелькнувшие задние ласты бедняги.

– Человек бьёт в голову копьём, – сообщила Первая. – Он терпеливо сидит возле лунки. Часто прикидывается умкой и даже облачается в его шкуру. Это очень хитрое и опасное существо. Самое опасное из всего живого, что есть на земле. И самое коварное. Он ест наших братьев и сестёр, а из наших шкур шьёт себе одежду, потому что сам он лишен телесной растительности и без одежды замерзает и погибает.

Как оказалось, жизнь нерп и их сородичей лахтаков, более крупных тюленей, оказалась далеко не такой безмятежной, как поначалу показалось Луннику.

Первая так и вертелась возле Лунника, стараясь не отпустить его одного. Было время нерпичьих свадеб, и многие пары играли любовь бурно, вспенивая вокруг себя воду. От них к поверхности воды, к ледяному дну поднимались пузырьки воздуха, как серебряные ожерелья, нанизанные на невидимую нить.

– Когда Солнце станет высоко в небе, у этих пар появятся детёныши, – объявила Первая. – Такие маленькие пушистые существа, покрытые белой густой шерстью. А самки будут их кормить густым сладким молоком. Малыши любят нежиться на весеннем Солнце. Разве ты не хочешь, чтобы и у нас тоже появились малыши? Я хочу, чтобы ты женился на мне.

Лунник чувствовал нежность к Первой. Молодая нерпа очень нравилась ему, и от этого чувства у него напрягалась косточка в подбрюшье, почти в точности такая, какая была у него, когда он был собакой. Но он осознавал, что ему ещё рано жениться и тем более обзаводиться детьми.

– Я не могу на тебе жениться, – ответил Лунник. – А вдруг у тебя вместо нерпят родятся щенята?

Первая задумалась.

– Да, это может случиться. А мне всё равно жалко и горько, что мы не можем жениться. А потом, это такое удовольствие, наслаждение, словно ешь мягкую живую рыбку взкын.

– Если бы я решил остаться нерпой, я бы, не задумываясь, стал твоим мужем. Но я чувствую, что не готов к этому.

Первая огорчилась. Значит, в эту весну у неё не будет пушистого детёныша, и она будет среди тех, которым не повезло. Раз от этого удовольствия начинается новая жизнь, почему надо от него отказываться? Пусть кому-то достаётся больше, кому-то меньше, кому – ничего. Но разве встреча с Лунником не была счастливым мгновением в её жизни? Такое остаётся в памяти на всю жизнь. Ну, может быть, в эту зиму Лунник не стал её мужем. Ещё совсем недолго он живёт среди нерп. Часто рассказывает о своём прошлом, о собачьей жизни, о том, как они хором выли на Луну, о том, как он бегал по тундре на своих четырёх лапах, обгоняя ветер. Забавно и даже иногда смешно.

Но Лунник всегда останавливал свой рассказ на том месте, когда доходил до того мгновения, когда откусил кусок Луны.

Иногда, выныривая на поверхность воды, а порой и выбираясь на льдину, Лунник, поглядев на небо, видел, как обкусанная собаками Луна уменьшалась, превращалась в узкий серпик, а потом и вовсе исчезала. Если рассказать об этом Первой, она может и не поверить, посмеяться над ним.

А Солнце всё больше удлиняло свой путь по небосводу. В воздухе отчётливо стало теплее. Огромные ледяные поля пришли в движение, появилось много открытой воды. Теперь нерпам уже не надо было напрягаться, чтобы выдуть себе лунку для дыхания: теперь дыши сколько хочешь, грейся на солнце.

Лунник стал много спать. Заметив это, Первая посоветовала ложиться всегда у кромки разводья, возле открытой воды, чтобы в случае опасности можно было в одно мгновение соскользнуть в спасительную толщу солёной океанской воды.

И всё же многие нерпы отличались беспечностью. Сблужившись в солнечных лучах был так велик, что иные, забыв об опасности, впадали в глубокий сон и становились добычей умки или двуногого Человека.

Малышей-нерпят с каждым днём становилось всё больше. Они буквально устилали своими пушистыми комочками большое ледовое поле. Рядом лежали мамы и охранявшие их самцы. Новорождённые ещё не умели запасать достаточно воздуха в своих лёгких и не могли долго находиться под водой. Такое умение приходило только со временем, по мере взросления и возмужания.

Для белых медведей наступило время большой охоты. Их детишки, рождённые ещё во тьме полярной ночи, уже достаточно возмужали и могли наравне со своими родителями самостоятельно добывать пропитание.

Они теперь не таились среди такого обилия нерпичьих детёнышей. Свободно прогуливаясь возле вылегших на лёд нерп, выбирали себе жертву и хладнокровно убивали, не обращая внимания на горестные вопли матерей, лениво отмахивались от самцов, пытавшихся защитить своё потомство. Большие пятна крови покрыли ледовое поле. Но нерпам некуда было уходить, особенно детёнышам, которые не могли спрятаться в спасительной глубине океана. Единственным уте-

шением было то, что умки не убивали больше того, что могли съесть. Насытившись, они прекращали охоту и даже, случалось, ложились отдыхать неподалёку.

Однажды Первая толкнула в бок задремавшего на тёплом солнце Лунника.

– Вот они идут!

По краю льдины медленно шли несколько двуногих. Их тела скрывались под одеждой, сшитой из оленьих и нерпичьих шкур. Они держали длинные палки с острыми наконечниками и большие деревянные палки с привязанными к ним тяжёлыми камнями. Молча подходили к нерпичьим детёнышам и со всего размаху били их по головам. Детёныши умирали сразу.

– Они делают так, чтобы не портить шкуру, – объяснила Первая.

– Но зачем им столько шкур? – спросил Лунник.

– О, этих двуногих немало на Земле, – ответила Первая. – Я уже тебе говорила, что на теле у них нет защиты от холода и они убивают четвероногих, у которых густая шерсть, тёплая шкура.

Если белого медведя нерпы порой пытались отогнать от детёнышей, то против двуногого человека они ничего не могли поделать и покорно смотрели на жестокое убийство. От ужаса и отвращения Лунник оцепенел и оставался на месте, прислушиваясь к их негромкой деловой речи.

– Смотри, – сказал один из них, показывая на Первую. – Молодая самочка. Наверное, и году ей нет. Самое сочное и вкусное мясо.

Человек слегка приподнял копьё и точным ударом вонзил лезвие между лопаток нерпы, достав остриём сердце. Нерпа вздрогнула, и большие круглые блестящие глаза, которые так нравились Луннику, покрылись слезами.

Неведомо откуда к Луннику вернулись силы, и он проворно соскользнул в воду, погрузившись сразу в самую глубину. Наверное, он громко плакал о невосполнимой утрате, но в плотной холодной воде звук далеко не расходится, он угасает почти сразу.

Впервые после того, как покинул Илир, Лунник пожалел о своём решении пуститься в путешествие. Ему казалось, что он прежде всего встретится с удивительными и поразительными явлениями, но даже и представить не мог, что увидит столько зла уже в самом начале своего пути. Что же будет дальше?

Лунник отплыл подальше от большой льдины, нашёл тихое небольшое разводье и вынырнул. Он услышал доносящееся с неба журавлиное клочкотание. Стройные треугольные стаи летели на свои прошлогодние гнездовья. Пронеслись со свистом быстрых крыльев утиные стаи.

На отдельном торосе, возвышающемся над ровным льдом, сидел Ворон и безучастно смотрел на происходящее. Если к нему приближался человек или умка, Ворон, тяжело махая большими чёрными крыльями, перелетал на другое место. Иногда кружил над лежбищем, хрипло и громко каркая. Он созывал своих сородичей, возвещая, что есть недоеденный кусок нерпы, оставленный пресыщенным умкой. Тогда невесть откуда появлялись чёрные птицы и усаживались трапезничать. Несмотря на внешнюю неуклюжесть и неповоротливость, вороны были достаточно осторожны. Они не подпускали близко к себе умку, а тем более человека. Правда, как заметил Лунник, человек сам старался держаться подальше от них. Лунник ещё в далёком детстве, когда Вожак под вой зимней пурги повествовал о прошлой жизни, узнал, что эти чёрные птицы имели какое-то отношение к возникновению окружающего мира и почитались создателями Земли и Неба.

Лунник несколько раз окунул голову в холодную воду, смывая слезы. Солнце катилось по небу, перейдя на западную сторону, нарождающийся серпик Луны едва был виден низко над горизонтом на восточной стороне неба.

Хорошо быть птицей! Можно улететь от этой кровавой льдины, взмыть над торосами и открытыми пространствами вольной воды, почувствовать настоящую свободу. Как же он, Лунник, поначалу не сообразил, что надо было превращаться не в нерпу, а в ворона!

Лунник взобрался на льдину и пополз к большому торосу, на котором восседал Ворон. Удастся ли ему превратиться в птицу? Ведь летать – это совсем не то, что ползать по льду, плыть по воде, нырять, парить в океанской пучине в окружении многочисленных рыб и разных морских животных.

У подножия высокого тороса Лунник остановился и посмотрел на Ворона.

Чёрная птица с удивлением уставилась на него и спросила:

– Откуда ты?

Лунник вдруг почувствовал лёгкость во всем теле, глянул вбок и увидел чёрные блестящие перья на собственных крыльях. Он стал птицей! Вороном!

– Я вышел из воды, – ответил Лунник, стряхивая с перьев капли.

– Ты почти напугал меня, – заметил Ворон.

– Я был собакой, вкусил магический кусок от Луны и получил дар превращения, – сообщил Лунник.

Чёрный Ворон внашал почтение. С ним надо было разговаривать всерьёз.

– Значит, ты Ворон не от рождения, – заключила чёрная птица. – Однако по законам гостеприимства наша стая должна принять тебя.

Лунник присоединился к остальным воронам. Внешне он ничем не отличался от них, и только полёт для него всё ещё был непривычным: ему казалось, что он вот-вот упадёт. Поэтому он старался не подниматься высоко, хотя небесная высь манила его, и часто случалось так, что Лунник вдруг обнаруживал себя парящим на уровне облаков и тогда торопился вниз, к твёрдой родной земле.

Воронья стая, принявшая Лунника, обитала в скальных расщелинах, нависших над морем. Гнездовья были устроены так, что их никак не мог заметить посторонний взгляд. Но это был уже не остров, как узнал Лунник, а настоящий материк, простирающийся на неизвестное пространство.

Вороны питались объедками, остававшимися от пиршеств белых медведей и брошенных человеком ободранных тушек нерпичьих детёнышей. Лунник первое время не мог заставить себя есть вчерашних своих родичей и кормился сухими прошлогодними ягодами, жёлтой сухой травой, мелкими замёрзшими насекомыми, неожиданно оказавшимися очень вкусными.

Вороны не летали на большие расстояния. Важность и степенность их являлись внешней отличительной чертой. Многим живым существам казалось, что эти чёрные медлительные птицы обладают какой-то первозданной тайной.

Вечерами вороны сбивались в стаю в скальных расщелинах и предавались воспоминаниям о далёком и близком прошлом.

– Мы, вороны, живём долго, – сообщил Луннику Главный Ворон. – Если хочешь остаться с нами, проживёшь столько, сколько не живёт ни одно живое существо, даже двуногий человек.

Всё воронье население принадлежало одному роду, где во главе стоял Главный, или, как его ещё называли, Мудрейший. Все остальные были в родстве с

ним до самых молодых воронят, которые, впрочем, внешне не отличались от своих прапрадедов, прадедов, дедов, отцов, матерей и так далее. Эти птицы как бы не имели возраста.

Тем временем Солнце уже перестало заходить за горизонт, а Луна исчезла с неба на долгий летний отдых. Прекратился долгий собачий вой, который порой даже доходил до материка, преодолевая пролив. Рядом с воронами на скалах поселились другие птицы: кайры с чёрными спинами и белыми грудками, чайки, гаги, тупики... Другое птичье население селилось в разросшихся и покрытых зелёными листьями зарослях по берегам тундровых речек, ручьев и озёр. С самого утра в воздухе стоял птичий гомон, в котором трудно стало различать смысл. Птицы носились в воздухе стаями и поодиночке, сидели на скалах, на снесённых самками яйцах, плавали в воде, ловили рыбу, копались в прибрежном иле в поисках съедобных личинок.

Главной заботой всего живого была кормёжка.

Однажды Главный Ворон подозвал Лунника и укоризненно сказал ему:

– Напрасно ты отказался жениться на одной из моих правнучек. Если этого не случится следующей весной, ты прервешь линию нашего вороньего рода и тебе придётся уйти от нас.

Однако до следующей весны было ещё так далеко, что Лунник не обратил большого внимания на предостережение Главного Ворона.

Наступившие тёплые дни и обилие жизни вокруг не оставляли времени для сна. Да и всё вокруг, особенно птичье население скальных утёсов, покрытых гнездовьями, затихало лишь ненадолго, пока Солнце катилось вдоль горизонта, чтобы снова взмыть ввысь.

Главная забота всего птичьего базара состояла в том, чтобы добывать пропитание и охранять будущее потомство. Желających полакомиться птичьими яйцами было великое множество. По отвесным скалам карабкались лисы и росомахи, какие-то ободранные существа, потерявшие роскошные зимние меховые одежды. Самое удивительное было в том, что вороны тоже охотились за птичьими яйцами, и самым большим лакомством считались пятнистые яйца кайр. Луннику, чтобы не умереть с голоду, приходилось тоже есть яйца, и они пришлись ему по вкусу.

Ранним утром, когда солнечные лучи ещё не были так горячи, Лунник отправился на промысел. Он вылетел из скальной расщелины, где проводила ночь воронья стая, и сначала опустился вниз на галечный пляж, где нежились моржи. Чуть поодаль расположились две нерпы. Лунник обрадованно поскакал к ним, помогая себе большими распушенными крыльями.

– Осторожно! – крикнула нерпа и толкнула ластом соседку. – Ворон скачет к нам!

Обе нерпы стали отползать к воде.

– Подождите! Подождите! – закричал им вслед Лунник. – Я ничего вам плохого не сделаю. Я тоже был нерпой!

– Видишь, как притворяется, – заметила нерпа, окунаясь в спасительный прибой.

– Вороны самые коварные и хитрые, – добавила вторая. – Хорошо, что они не умеют плавать. Говорят, если ворону удаётся догнать нерпу, он сначала выклёвывает ей глаза, а потом когтями разрывает грудь и рвёт клювом ещё тёплое трепещущее сердце.

– Но почему их считают священными?

Лунник и сам не знал, почему воронье племя считалось священным. Главный Ворон намекал на какие-то особые заслуги, совершённые при сотворении Мироздания, но в чём они состояли, об этом он говорил как-то смутно и неубедительно.

Якобы всё: земля, скалы, тундра, галечные берега – это застывшие испражнения Ворона-Прародителя, который летел в крошечной тьме, где не было ни света, ни верха, ни низа. А озера, и реки, и даже безбрежные океаны – это моча Ворона-Прародителя.

Лунник как-то высказал сомнение: сколько должно было выпасть из одной птицы для сотворения Мироздания, на что Главный Ворон сказал:

– Наш Прародитель, наша Первоптица была достаточно велика, – и укоризненно посмотрел на Лунника.

В вороньей стае не пристало сомневаться в истинах, изрекаемых Главным Вороном. Но всё же сомнения у Лунника остались. Иногда возникала зависть к другим птицам и сожаление о том, что он принял облик ворона уж очень скоропалительно. Почему бы не превратиться в баклана? Изящная, не менее чёрная птица. Она летела высоко и быстро и с удивительной точностью бросалась на рыбу, плывущую в глубине воды. Вынырнув, она медленно глотала добычу, и трепещущий рыбий хвостик долго торчал из её клюва. Примерял Лунник себя и к кайрам, и к многочисленным породам чаек, к уткам, гагам, гусям, топоркам и разной другой летучей мелочи, порой даже затмевающей солнечный свет.

Лунник увидел Человека и замер, прижавшись к тёплой, покрытой голубоватым мхом скале. Двуногий осторожно спускался откуда-то сверху. На поясе у него висел кожаный мешок, куда он складывал яйца, осторожно выбирая их пятипалой рукой из гнезд. Человек никогда не трогал ворон. Лунник об этом знал, но, тем не менее, ужас охватил его, приковал к скале.

Взлетевшие в испуге птицы пытались отогнать непрошеного утреннего гостя, низко летая над ним, пытаясь даже клюнуть в лицо и в руку, нещадно поливали его едким помётом, но Человек только отмахивался. Он был хорошо защищён искусственной шкурой, снятой с убитых животных. На голове у него был особый колпак, который не пробивали даже острые клювы топорков.

За первым двуногим двигался ещё один. Он держал над головой огромный обруч с сеткой, сплетённой из тончайшего ремня. С помощью этого устройства человек накрывал сразу несколько топорков, потом по одному освобождал их, свернув головки, складывал в кожаный мешок из целиком снятой нерпичьей кожи. Он охотился только за топорками, в то время как первый брал почти все подряд яйца, но обходил стороной вороньи гнездовья.

Лунник пробрался в скальную расщелину к своим сородичам-воронам и, объятый ужасом от всего увиденного, забился в самый дальний угол.

Старый Ворон подошёл и успокоил Лунника:

– Не бойся. Человек ворона не тронет.

– Почему он такой жестокий?

– Есть хочет, потому и такой, – ответил Старый Ворон. – Голодный, он теряет рассудок, и у него остаётся только одна мысль – добыть еду. Потому что еда – это жизнь. Тот, кто ест, тот и существует, а тот, кому нечего есть, слабеет и уходит из жизни, покидает этот мир.

– А может, лучше уйти из жизни самому, чем лишать жизни других? – предположил Лунник.

– Я знаю, что ты ворон превращённый. Ты был собакой, потом нерпой, а потом и вороном. Потому что вкусил Луну. А кусок Луны, попадая в живое существо, лишает его спокойствия и рождает массу беспокойных вопросов. А избыток вопросов, особенно тех, на которые нет ответа, портит жизнь. Вместо того чтобы просто наслаждаться жизнью, светом и, наконец, хорошей едой, такое существо, как ты, начинает беспокоиться. Все эти мысли и вопросы, как паразиты: зуда и желания почесаться много, а толку мало. Поэтому желающих вкусить куска Луны, кроме собак, на свете нет. Иначе все только и превращались бы друг в друга, и в мире наступил бы хаос.

В глубине перьев Лунника действительно водились разные мелкие паразиты, и ему приходилось и чесаться, и выковыривать их клювом. Но они не отвлекали его от мыслей и вопросов, которые были сильнее и беспокойнее, чем укусы паразитов.

Расхрабрившись, Лунник вылез из своего укрытия и уселся на узкий каменный уступ.

Два человека продолжали своё чёрное дело. Облепленные и покрытые с ног до головы белёсым птичьим помётом, они медленно передвигались, опустошая гнездовья. Птицы продолжали атаковать их огромной тучей, даже затмив и закрыв Солнце.

Особенно ожесточённым нападениям подвергался тот, который ловил топоров сетью, сворачивал пойманным птицам головки и складывал добычу в мешок из нерпичьей кожи. Он пытался отмахиваться от наседавших на него птиц, но одна рука у него была занята сетью, а другой он уцеплялся за каменные выступы, чтобы не упасть в волны неумолчного прибоя.

Иногда люди перекидывались словом друг с другом.

Тот, который с сетью, жаловался:

– Мне тяжело.

– Ничего, парень, ещё немного... Потерпи.

Человек с сетью сделал шаг, чтобы поставить ногу на выступающий камень. Камень легко выскользнул из-под ноги и покатился вниз. Широко взмахнув руками, бросив сеть, человек с громким жалобным криком полетел вслед за камнем. Он несколько раз ударился о скальные выступы и с громким всплеском ударился о воду и тут же исчез в глубине.

Его товарищ услышал крик ужаса. Но он уже ничем не мог помочь.

Человек торопливо полез вверх, а над ним в торжествующем крике закружились бесчисленные стаи, продолжая поливать ядовитым помётом своего главного врага среди всего живого.

– Люди никогда не спасают из воды своего сородича, – заметил Главный Ворон. – Он считается добычей Морских Богов.

Тело погибшего к вечеру выбросило недалеко от моржового лежбища.

– Мы совершим над ним древний священный обряд, – сказал Главный Ворон.

Несколько ворон и вместе с ними Лунник слетели со своих гнездовий. Иные даже уселись на бездыханное тело. Лунник никогда так близко не видел человека. От него пахло морем и морскими водорослями, застрявшими в его густых волосах на голове. Некоторое подобие волосяного покрова можно было разгля-

деть на лице: на подбородке, под носом. Кое-где одежда человека была разодрана при ударах об острые скалы, и можно было увидеть в прорехи, что тело этого существа безволосое. Лунник прыгал вокруг тела, однако на достаточно почтительном расстоянии. Но другие вороны взбирались на труп и расклёвывали одежду мертвеца, пытались добраться до его тела.

Главный Ворон подозвал Лунника:

– Ты расклюешь правый глаз, а я – левый.

Лунник в ужасе отпрянул назад. Только сейчас он обнаружил, что глаза человека были широко открыты и в них отражалось голубое небо и низкое Солнце.

– Ты чего испугался? Он же мёртв! – сказал Главный Ворон и вспрыгнул на грудь мертвеца. – Тебе представляется редкий случай отвесть содержимое глаза человека. Может быть, тогда к тебе перейдут его качества – умение видеть то, что не видим даже мы, птицы, умеющие летать в поднебесье.

– Нет, я не буду есть глаза человека! – решительно отказался Лунник.

– Ну, как хочешь! – разочарованно протянул Главный Ворон. – Я просто хотел оказать тебе честь как гостю.

Лунник отошёл в сторону и побрёл вдоль прибойной черты. Он подбирал полувысохших морских звёзд, рачков, рыбёшек и даже скользких медуз с их острым обжигающим клювом. Иногда он оглядывался и видел, как птичья стая над погибшим человеком всё густела, некоторые даже вступали в драку из-за лакомых кусков.

Удивительно, Лунник в голодные годы, будучи собакой, не брезговал и пахучей падалью – замёрзшими телятами, выброшенными на берег тушами погибших тюленей, моржей, поедал полуживыми и полевыми мышьями-леммингами, нападал на птичьи гнёздовья у берегов тундровых водоёмов, но отвесть человека... От одной этой мысли его выворачивало наружу.

В тот вечер воронья стая была особенно оживлённой. Многие вспоминали случаи, когда им доводилось отвесть человечины.

В зимнюю пору, когда скудели источники пропитания, вороны селились ближе к людским стойбищам. Они кормились на помойках, выискивали сдохших от старости домашних собак или обессиленных оленей. Но настоящее пиршество наступало для них, когда умирал человек.

Умершего торжественно провожали на Холм Печали. Но прежде они наряжали его в лучшие одежды, обычно сшитые из белых оленьих шкур. Вместе с ним на кладбище отправляли некоторые его вещи: копыта, ножи, нарты, инструменты, оружие – лук и стрелы. На кладбище покойника везли на особой погребальной нарте, которую там же и ломали. А самого умершего раздевали донага, красивую погребальную одежду разрезали на мелкие куски и прятали под большим камнем. Тело обкладывали символической оградкой из небольших камней и оставляли.

И тут налетали на него уже поджидавшие поодаль россомахи и вороны. Ворон всегда было больше, и россомахам мало что доставалось. Среди людей считалось: чем скорее от покойника оставался один скелет, тем лучше для него – значит, душа его – кэлелвын – освобождалась от земной оболочки и возносилась либо в небеса, либо в подземное царство мёртвых.

Луннику всё меньше нравилась жизнь среди вороньей стаи. Эти птицы держались обособленно, высокомерно поглядывали на других пернатых, вечно осу-

ждали их и даже не пощадили орла, ненароком залетевшего откуда-то из-за южных холмов.

– Высоко летает, однако ума у него немного, – заметил Главный Ворон, следя за плавным полётом огромной птицы. – Будь я таким, подчинил бы себе всё остальное птичье царство. Стал бы Главным не только над воронами, но и над другими птицами.

В глубине его гнездовья, в ворохе сухих листьев и веток Лунник заметил несколько ярких перьев, и страшная догадка пронзила его: это была шапка из топорковых перьев, которую носил погибший человек. А рядом валялся обглоданный до белизны череп с пустыми тёмными глазницами.

– Это голова человека? – спросил Лунник.

– Она самая, – ответил Главный Ворон. – Я выклевал его мозг до последнего кусочка, чтобы обрести его мудрость и изобретательность. Но пока ничего не заметил.

Молодая Ворона, которая мечтала женить на себе Лунника, предупредила его:

– Будь осторожен. Наши всё ещё считают тебя чужаком. Могут съесть.

– Разве вы едите своих? – содрогнулся Лунник.

– Случается, – ответила Молодая Ворона. – Когда наш сородич гибнет, мы стараемся сами его съесть.

– Ну и как?

– Мясо жестковатое, а так ничего особенного. – Молодая Ворона лукаво глянула на Лунника и добавила: – Вот если ты женишься на мне, тебя, может быть, и не тронут. Мы бережём наше потомство. Ворон должно быть много. Главный Ворон говорит, что, если нас будет много, мы можем завоевать весь мир. Станем царствовать на всей земле, и даже Человек будет служить нам.

– Но Человек и так уважает вас, – напомнил Лунник.

– Он боится. И считает нас священными птицами. И даже сохранил древние сказания, в которых повествуется о том, как наш предок создавал Землю и Воды. Ты знаешь, что мы живём долго, почти вечно. Так что, если ты на мне женишься и останешься в нашей стае, ты имеешь возможность стать одним из властелинов Земли.

Но почему-то Луннику не хотелось ни жениться на Вороне, ни стать властелином Земли. Он стал осторожнее и часто улётал подальше от остальной стаи, в глубину тундры, где кипела совсем другая жизнь. Иногда он слышал вослед священную воронью песню, которую учили вылупившиеся из яиц маленькие воронята:

Мы – Вороны – Создатели Земли и Вод,
Наше племя древнейшее из тех,
Кто живёт, кто летает, ходит и плавает...
Мы – будущие властелины Земли.
Чёрной тучей покроем мы тундру,
Человека заставим служить,
Серый волк нас будет возить,
На оленях мы будем скакать.
Чёрный цвет будет главным везде,
Даже снег, даже лёд и вода
Будут чёрными, как перья ворон,
И наш крик будет главным.

В один из дней Лунник решил больше не возвращаться в воронье гнездовье. Он углядел в прибрежных зарослях тундрового озера укромное закрытое логовище и прекрасно провёл ночь.

Утром его разбудил слаженный хор комаров.

Это было пение счастливых существ, радующихся солнцу, тёплой погоде, ярким цветам и обилию живых существ, наполненных горячей живительной кровью. Желание присоединиться к этим счастливчикам было настолько сильным, что Лунник не заметил, как обратился в одного из них.

Всё вокруг стало огромным. Низкая трава превратилась в густой лес, а один лепесток сладкого цветка нзет – в огромное поле, по которому можно было бегать из конца в конец. Листок золотого корня юнзва снаружи блестел, как большой зелёный водоём, а сохранившаяся с ночи капля росы светилась и переливалась, как маленькое солнышко. Под этим листком могло поместиться целое полчище комаров, и теперь Лунник догадался, куда это в ненастье исчезают жужжащие и звенящие тучи крохотных существ. Для такой мелочи в тундре оказалось столько укромных мест и схронок, что стаи комаров исчезали из поля зрения мгновенно, бесследно испарялись.

Вместе с комариной стаей Лунник полетел над землей. Он с интересом смотрел вниз, отмечая про себя, что земля с высоты вороньего полёта и с комариной высоты весьма отличается. Все, даже мельчайшие животные, выросли до гигантских размеров. Небольшая полевая мышка, которую он ещё вчера в одно мгновение заглатывал, обратилась в гигантское устрашающее чудовище. Земля тряслась под её ногами, её писк превратился в оглушительный рев, а белые острые зубки внушали смертельный страх. Мохнатый шмель напомнил Луннику встречу с бурым медведем на острове, когда он был щенком. Шмель гудел, перелетая с одного цветка на другой. Он вытягивал хоботок и совал его в глубину цветка, высасывая оттуда сладкий сок.

Но комары искали другое пропитание.

Ближе всего к Луннику была маленькая стройная Комариха, самая весёлая и считавшаяся в комариной стае первой красавицей. Она так и вилась вокруг Лунника, обхаживала его и приглашала совершить, как она выразилась, «совместное удовольствие».

– Так бывает хорошо от него! – закатывала глаза Комариха. – Соединение желаний!

– От него бывают дети, – вспомнил Лунник. – Это любовь?

– Нет, – ответила Комариха. – Великая Любовь бывает только у людей. И от неё рождаются только люди. А наше удовольствие называется секс. От секса рождаются только животные и насекомые.

Несмотря на свою крохотность и молодость, Комариха знала многое. Краткость жизни этих насекомых вмещала в себя всю полноту жизни.

Комариха всё же уговорила Лунника совершить ночное путешествие в стойбище.

– Сейчас жарко, и пастухи крепко спят на тёплых зелёных пригорках, – соблазнила Лунника Комариха. – Горячая тёмно-красная кровь наполняет их тела.

Человек спал, подложив под себя левую руку, однако другую, правую, держал на груди. Она мерно поднималась вместе с дыханием, а храп раздавался дале-

ко вокруг, заглушая звонкое комариное пение. Комариха и Лунник подлетели с подветренной стороны. Луннику почему-то не хотелось крови. Он не знал, что сосут кровь самки-комары, и именно от этого они получают то удовольствие, которое Комариха называла сексом. Комариха пристроилась на лбу спящего человека. Именно здесь кожа была тоньше, и кровеносные сосуды, по которым текла вожаделенная жидкость, находились близко к поверхности. Поискав, Комариха нашла нужное место и с размаху вонзила жало. Кровь наполняла брюшко Комарихи, а сама она тихо стонала от наслаждения. Скоро она превратилась в красный шарик. Переполненная и отяжелевшая, закатившая от удовольствия выпуклые глаза, Комариха не заметила поднявшуюся ладонь человека, которая в одно мгновение припечатала Комариху ко лбу. Вместо весёлого, поющего насекомого осталось серое пятнышко и размазанная кровь.

«Сколько же погибает комариного народа!» – невольно подумал Лунник, когда возвратился в прибрежные заросли, и насекомые стали устраиваться на ночь под травами, под листьями, в земляных норах под моховищами, где сохранялись до самого утра.

– Но нас так много, что мы и не замечаем исчезновения некоторых наших братьев, – сказал Комар-Вожак, когда Лунник сообщил ему о гибели Комарихи.

В комариной стае Луннику понравилось одно: никто не предлагал ему жениться. Секс предлагали, но, вспоминая Комариху, Лунник отказывался от «совместного наслаждения», от которого только прибавлялось комариное племя. Да и вообще, народ оказался весёлым и беспечным, несмотря на неотвратимость трагического конца, который подстерегал каждого комара. Они весело и дружно начинали с песен новый день, если только было Солнце и достаточно тепло, а если погода не благоприятствовала, оставались в укрытиях, где в сонной и сладкой дремоте коротали время.

Две вещи больше всего портили жизнь комарам – сильные ветры и дожди. В такие дни приходилось прятаться, почти зарываясь в землю. Но если ветер и дождь настигали комариную стаю в воздухе, случалось, что её уносило далеко в тундру. Это ещё хорошо, если в тундру, но бывало и так, что всю стаю сметало в открытое море, откуда уже не было спасения, и вся стая погибала. Но никто особенно не горевал: наступало солнечное утро, и комариная песня первой начинала звенеть, и уже потом в неё вплетались птичьи голоса, звериный рык и похожий на собачий, но чуждый уху Лунника лай полинявших за лето песцов и лисиц.

Лунник не всегда летал вместе с комариной стаей. Он часто оставался один и обследовал землю. Она оказалась страшно бугристой и неровной, покрытой огромными комьями, неожиданными норами и дырами, куда было легко провалиться. В этом ландшафте обитали другие животные, и гигантские птицы, волки, лисы для тундровой мелкоты были обитателями совсем другого мира. Кроме комаров и огромных шмелей, вокруг летали мухи. Они были разных размеров и разных пород и главным образом кормились падалью. Однажды Лунник буквально замер перед бесшумно скользящим по земле длинным блестящим существом, словно ожила упавшая травинка или стебелёк ягодного кустика.

– Чего испугался? – недовольно проворчало существо. – Я – червь.

С этими словами червь проворно уполз под шляпку гриба и пристроился там отдыхать.

– Нашего брата червя много, – рассказал новый знакомый Луннику. – Ведь и ты, комар, сначала бываешь маленьким красным червячком, а потом уже обретаешь крылья. Мушинные черви, которые живут в падали и мясе, лучше всех устроились. Они никогда не знают голода, потому как живут прямо на своей пище.

Но Лунник не был раньше червяком. Он сразу стал комаром и уже подумывал сменить своё обличье. Лежа под листом, он воображал себя разными животными. Птицей он уже побывал, морским животным, насекомым. Хуже всего, конечно, быть комаром. Мухой или даже шмелём – лучше. Никто специально этого ему не говорил, но, чтобы снова стать собакой, Луннику надо последовательно пройти в обратном порядке через все стадии превращения. Но пока возвращаться не хотелось, ведь его приключения только начались. В душе он искал тех существ, которые чувствовали бы себя наиболее счастливыми. Пока таковыми оказались комары, но они гибли в неимоверном количестве! Лунник никак не мог понять постоянной весёлости этих крохотных насекомых, которые могли погибнуть в любое мгновение.

– Мы об этом просто не думаем, – сказал Луннику один комар. – Зачем омрачать жизнь мыслями о смерти? Все живущие на земле рано или поздно умирают. Если с самого рождения только думать о том, что настанет миг исчезновения, то и жить не стоит. А кто больше, кто меньше живёт, это не так важно. Важно, что ты жил весело, во всю силу радости бытия.

Лунник удивлялся мудрым мыслям такого маленького существа. Такого он не слышал даже от ворон, которые прослыли среди всего животного мира самыми умными. Правда, они считались почти бессмертными. В своё время Первая Ворона, которая пыталась женить на себе Лунника, соблазняла его многолетием, долгой жизнью.

По правде говоря, Лунник считал своё превращение в комара большой ошибкой, но уже ничего нельзя было поделать. Хорошо, хоть пребывание в этом обличье было временным. Комариная жизнь могла быть такой короткой, что Лунник мог так и погибнуть комаром, не изведав другие обличья. Иногда приходила пугающая мысль: а если превратиться в человека? В двуногого, покрытого шкурами убитых животных безжалостного охотника, преследователя зверей, мучителя собак, вооружённого острыми копьями – продолжением его слабых рук, луками и стрелами, которые поражали добычу на большом расстоянии. Но Лунник быстро отгонял эту мысль. Превратиться в человека? Это означало стать совсем чужим и враждебным всему остальному живому миру. Безжалостно уничтожать всё живое вокруг себя.

И всё же так хотелось посмотреть вблизи жизнь этого удивительного существа.

(Окончание следует)

Валентин
НЕРВИН

ПО МОРЮ ПОТЕРЯННЫХ ДНЕЙ
У АДМИРАЛТЕЙСКОГО ПРИЧАЛА

От Адмиралтейского причала
отплывает белый катерок.
Если бы я начал жить сначала,
плавал бы и вдоль и поперёк.

Если человек уходит в море
или даже просто по реке,
непреренно ждёт на косогоре
девушка в узорчатом платке.

Чайка без печали прокричала,
ветерок по памяти летит,
у Адмиралтейского причала
катерок последний тарахтит.

Время не отпустит на поруки –
сердце успокоится на том,
что махала с берега разлуки
девушка узорчатым платком.

* * *

Под занавес Лета Господня
тепло не дается в кредит.
На русской равнине сегодня
рассерженный воздух гудит.
Я чувствую, как поневоле
природа сдаётся «под ключ»
и мечутся ангелы боли,
и молнии мечут из туч.
Душа в дождевой паутине
состарилась и замерла.

Сегодня на русской равнине
кончается время тепла.

• **Валентин Нервин** – член Союза российских писателей, автор 17 книг стихотворений. Лауреат литературных премий им. Н. Лескова и «Кольцовский край», международного литературного фестиваля «Русский Гофман». Удостоен специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии) и международной Лермонтовской премии. Живёт в г. Воронеже.

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ

Памяти Е. Блажеевского

На холме
за Акатовым монастырём
я совсем неспроста замечаю сегодня
эту грань между августом и сентябрём,
полосу отчуждения

Лета Господня.

Всё, на что не хватило души и ума,
не хватило решимости нынешним летом,
в сентябре ускользает по склону холма
до реки, за которой...

не будем об этом.

Что мы знаем о тех, кто на том берегу,
что я помню о тех, кого знаю сегодня,
безоглядно ступая, на каждом шагу,
в полосу отчуждения

Лета Господня?

* * *

Когда собираются вместе бродяги,
уже догорает закат
и тусклое солнце из меченой фляги
по жилам течёт наугад.
Пока оживает душа понемногу,
томящаяся взаперти,
они обязательно пьют за дорогу –
иначе не будет пути.
Огонь разгорится, судьба отзовется,
да только в глаза не глядит.
Они провожают закатное солнце
и пепел до неба летит.

В ЛЕСУ

В лесу, где кроны шелестели
желтофиолевой листвой
и птицы сказочные пели
над непутевой головой,
подумалось о том, что лето
вернётся только через год
и песня молодости спета,
по мере наших непогод.

У птицы пёстрая окраска,
в лесу не холодно пока,
но сказка потому и сказка,
что кончится наверняка.

ВОРОБЫШЕК

Жена заплачет,
ангел отвернется,
и за душой не будет ни копья,
когда на сердце будто встрепенётся
простая птица вроде воробья.
Она свободно
крылышки расправит,
и медики руками разведут,
а кто-нибудь из космоса представит
земную жизнь за несколько минут.
Душа бывает
праведной и грешной,
но всякий раз, у жизни на краю,
чирикает воробышек сердешный
бесхитростную песенку свою.

ОДИССЕЙ

По морю потерянных дней,
где время течёт как вода,
куда-то плывёт Одиссей –
до срока не важно куда.
Герои воюют и пьют,
герои не верят словам,
но песни Гомера поют
Сирены по всем островам.

Я драхмы менял на рубли
в таинственном царстве теней,
и плыли мои корабли
по морю потерянных дней.
Я Трои сожгу за собой
и выйду живым из огня
навстречу Гомеру – слепой
старик не узнает меня.

ГЕКТОР И АНДРОМАХА

Андромаха прощается с мужем –
он идёт на большую войну
за какую-то малую сушу,
как водилось у них в старину.
Гектор спешится и улыбнётся –
меланхолии нет и следа,
только он никогда не вернётся,
не вернётся уже ни-ког-да.

Что-то в жизни людей неисправно,
если мир утверждают войной,
и опять голосит Ярославна
на высокой стене крепостной.
Я не знаю, что будет в дальнейшем,
сколько мы возведём крепостей
на слезах обезумевших женщин,
на крови нерождённых детей.

Андромаха прощается с мужем...

* * *

У возраста странная мера:
по памяти время храня,
я, может быть, старше Гомера,
но Лермонтов старше меня.

Наверное, скоро наука
откроет великий закон,
и дед, опекающий внука,
узнает, что внук – это он.

И всё повторяя сначала,
выходишь из мрака на свет,
а женщина ждёт у причала,
наверное, тысячу лет.

Законы любви и природы
всегда утверждают одно:
какие бы ни были годы,
любимым стареть не дано.

* * *

Все мы понемножечку волхвы –
удивляться этому не надо:
шелест облетающей листвы
слышен накануне листопада.

Человеку загодя дана
слуховая чуткая мембрана,
и, когда на кухне тишина,
только время капает из крана.
Угадаю ли наверняка
роковую дату невозврата,
слушая, какие облака
пролетают в сторону заката?

ЛИСТЬЯ

1

Не видно стрижей и не слышно цикад –
похоже, весёлая песенка спета.
Как быстро,
как быстро кончается лето,
и жёлтые листья летят на закат.
Осенние листья надежды благой –
мы здесь ненадолго и, зная об этом,
летим до заката,
а перед рассветом
очнёмся уже на планете другой.

2

Никому не хочется стареть,
отрясая листья на морозе.
Сколько тебе, тополь, зеленеть? –
Не намного дольше,
чем берёзе.
Время возвращается на круг,
листья станут воздухом и глиной;
птицы, улетевшие на юг,
не увидят смерти тополиной.

Елена
ОВЧАРОВА

МОЛИТВА О ПОЕЗДКЕ В ЛЕС

Рассказ

До того июльского дня он – рыжеватый, лысеющий, излишне застенчивый филолог-штангист, точнее, штангист-филолог – был для нас просто Сашкой. Учиться ему было трудно. Среди любителей интеллектуальной сгущёнки он чувствовал себя восьмиклассником на заседании Академии наук. Но штангой, говорили, владел лихо. Смущаясь, приглашал на соревнования. Обещали, одобрительно похлопывали по мускулистому плечу. И не приходили:

– Понимаешь, некогда... семинар... зачёт... и вообще. А ты молодец!

Понимал. И не обижался. О его спортивных победах мы узнавали не от него, а от двоих его друзей. Оба – утончённые (причём один – тоньше, другой – злее), подающие надежды молодые филологи. Нам не был странен их союз – недосуг было задумываться о таких пустяках. Нас влекла наука! Азартные, жадные, подогреваемые похвалами своих кумиров, мы, как щенки, ошалевшие от своей молодой силы, рвали куски от кормилицы-науки и глотали их, не жуя. Мы очень многое знали, умели почти всё и без жалости крушили устаревшие истины. Нам было не до Сашки.

Правда, однажды всё чуть было не изменилось. Нашу группу, которую составляли умопомрачительно яркие индивидуальности, периодически трясла жестокая притирочная лихорадка. На одном из шумных спонтанных собраний между парами, где решался вопрос о коммуникации как таковой и создании благоприятных условий для полноценного диалога наших бесконечно стремящихся друг к другу, и так же бесконечно одиноких сознаний, Сашка встал и сказал:

– Ребята, а поехали в лес? Отдохнём, попоём. Сбор у меня. Это недалеко.

Растерялись от примитивности предложенного решения, начали возмущённо закипать, но вовремя вспомнили, что «всё гениальное – просто», и согласились:

• **Елена Овчарова** живёт в г. Томмот Алданского района Республики Саха (Якутия), преподаёт в школе русский язык и литературу, мировую художественную культуру. Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия). Автор двух поэтических сборников. Призёр XI Международного Грушинского интернет-конкурса (2021), гран-при Республиканского фестиваля-конкурса «На крыльях Стерха и Жар-птицы» (2022), специальный приз Международной славянской литературной и художественной академии в конкурсе «Вольные стражи весны» (2020). Член Союза писателей России.

– А ты молодец!

Но не поехали.

Он долго ходил за нами, уговаривал, напоминал. Обещали подумать, откладывали, снисходительно объясняли:

– Понимаешь, некогда... семинар... зачёт... и вообще.

* * *

Лето навалилось жарой, сессией, потом – диалектологической практикой. Надо было пережить первую, сдать вторую и быстренько скинуть третью, чтобы разлететься кому на море, кому в Москву, кому в интернациональный лагерь труда и отдыха. Кто-то надеялся просто завалиться в домашнюю хрустящую постель и отоспаться. Диалог перенесли на осень.

В тот душный июльский вечер в нашем интернациональном лагере труда и отдыха были танцы, для солидности называемые дискотекой. Часов в девять вечера зазвонил телефон в комнате дежурного милиционера. Вслушиваться в хрипы и кашель столетнего аппарата было лень, и он долго надрывался, пока кто-то всё же подошёл к нему. Человек, который не представился, попросил передать филологам, что завтра – похороны Сашки. Он утонул в последний день практики, переплывая речку. Нам передали. По одному, по двое стягивались филологи к окошку, за которым стоял нахохлившийся телефон. Кто-то сел на лавочку, кто-то стал рядом, минут через пятнадцать все незаметно для себя сжались, сгруппировались в плотное кольцо. Нас оказалось неожиданно много. Парни молчали, девчонки еле слышно всхлипывали. За спальным корпусом, на заднем двореке над озером играла громкая музыка, танцы продолжались. До нас долетали возбуждённо-весёлые нахальные голоса.

– Разве это люди?! Они что, ничего не понимают?! – сорвался на крик подвыпивший парень из мажоров. Его пришлось придержать, потому что он, нелепо размахивая руками, рвался «бить морды этим безмозглым скотам, которые продолжают дёргаться под музыку, когда такой парень погиб». По голосу казалось, что он плакал, хотя при свете звёзд лица было не разобрать. Нас ошеломили и его крики, и его слёзы: один из тех, кто, по идее, мог и не знать о Сашкином существовании, назвал его таким парнем!

Мы прислушались к себе, к тому, что тихонько задрожало и заныло внутри, и поняли, что нам очень страшно и очень одиноко. Мы внезапно остались одни. Надо было что-то делать!

В кабинет директора лагеря мы ввалились уже тяжело дышащей, угрюмой и на всё готовой толпой. Мы не просили, не требовали, мы просто ставили в известность, что завтра утром уезжаем в город на похороны. Нам было отказано в таком же тоне. Бунт созрел ещё на пороге, сейчас же мы просто упивались своим горем, своей решительностью и свободой. Угроза испортить характеристики только подхлестнула нас. Обида и желание отомстить кружили нам головы. Мы чувствовали себя и жертвами, и героями одновременно.

Нас всё-таки отпустили, даже дали один из тех автобусов, которые возили студентов на работу в совхозные сады. Правда, взяли с нас обязательство, что мы вернёмся в тот же день и отработаем внеплановый «выходной». Мы этого уже не слышали – мы ехали к Сашке.

Автобус сломался за двадцать километров до города. Мы-то продолжали ехать, а он стоял, пыльный, горячий и парализованный какой-то неведомой водителю поломкой. Когда нас подобрал проезжающий мимо рейсовый междугородный автобус, мы, растянувшись в узком пространстве между креслами, зажатые дорожными сумками и чужими коленками, выставленными в проход, уже не спешили, не злились, не нервничали. В тупом, нехорошем оцепенении мы ехали к Сашке.

На факультете было пусто, пахло извёсткой и масляной краской. Маленький, вечно озабоченный замдекана не знал о похоронах ничего определённого, но точно знал, что виновных надо найти и непременно наказать. Адрес «выбывшего» студента он в своих бумажках нашёл, хотя был сильно раздражён тем, что его отвлекли от ремонта. Маленькому начальнику было по-прежнему не до нашего Сашки, а мы... мы, каменея лицами, напряжённо стремились к нему.

Времени оставалось в обрез. Вынос тела (это о Сашке-то!) – в 14.00. Автобусы в нужный нам район города ходили редко. К тому же были они переполнены пассажирами. А нас уже захлёстывала волна тоскливой безнадёжности: добраться вовремя невозможно! Выгрести из карманов и кошельков всё, что было, купили на углу у чистенькой старушки букет огромных белых хризантем, остальное отдали на оплату такси четверым из нас, которые должны были успеть. Хотя бы они.

Когда нас, не вошедших в авангардный отряд, выдавили из автобуса на окраине города, мокрых, помятых и растерянных, оказалось, что никто из нас не знает, куда идти дальше. Нет, улица и номер дома были записаны на бумажке витиеватым замдеканским почерком. Но где это? Улицы, пыльные и раскалённые, с плывущими от жары домиками и варёной сморщенной травой, были пусты. 13.40. Мы кидались к закрытым калиткам, ловили за руки семенящих в тени абрикосовых деревьев старух и чумазых ребятишек, проносящихся мимо на дребезжащих велосипедах, но все пожимали плечами. Да, они слышали, что есть такая улица где-то рядом, но... Старик в потрёпанной соломенной шляпе, собиравший в пол-литровую баночку колорадских жуков со своей поникшей картошки, тоже отрицательно покачал головой, но вдруг окликнул нас в спины:

– Дівчатка, а ви нэ до Сашка? Та хіба ж то вулиця, дэ він живэ? Там лише три хатинки стоять...

Мы молчали. 13.50. Мы стояли и ждали. Ну!! Струна ожидания натянулась до предела и лопнула. Стайка воробьёв испуганно вспорхнула с забора.

– Ви майже прийшли. Тут недалечко. За посадкою перший будиночок, – дед махнул рукой в сторону кучки сомлевших деревьев.

Нам, видимо, только казалось, что мы бежали. Мы спотыкались, поднимая в воздух горячую пыль, и боялись верить тому, что наконец-то нашли, успели, смогли... Мы только вошли в тень жиденькой посадки, как в просветах между деревьями уже увидели крышу того самого дома.

– Дівчатка, ви, мабуть до Сашка?

Нет, пусть они молчат, эти женщины в чёрных платках, которые вышли из калитки нам навстречу и остановились в двух шагах. Этого – не может быть! Это несправедливо!

– Нет Саши, девочки, увезли его уже. У нас до кладбища далеко – все на машинах поехали. Не догоните...

* * *

Он был для нас просто Сашкой. Но каждая наша вечеринка после того июля, каждый полуночный разговор по душам, междусобойчик с песнями Высоцкого и стихами Рубцова и Цветаевой заканчивался воспоминанием о Том Дне, Когда Мы Ехали к Нему. Но плакали мы, наверное, не о нём, а о себе – несбывшихся. О том, что спешим, но не успеваем. О том, что любим, но не бережём. О том, что молчим, когда надо бы кричать. Это были едкие, злые, выдающие нас с головой слёзы стыда за то, что могли бы, да лень. За то, что тратимся на ерунду, а на важное нас уже не хватает. Да, от сессии до сессии, от курсовой до курсовой мы остывали. Не так опустошительны были наши набегии на библиотеки, конспекты становились короче, знакомых лиц в читалке – меньше. Не так горячи стали наши споры: уже знали, с кем и о чём – стоит поговорить, а с кем – только время терять. Те, кто подавали надежды, стали выдавать добротные, крепко сбитые конкурсные работы, а задержавшиеся на стадии филологического детства всё задыхались от восторженного ожидания откровения, которое вот-вот их озарит... да так и задохнулись. Мы стали меньше петь – некогда. Мы так и не поехали в лес.

* * *

Прошло уже... очень много лет с того дня, когда мы осипшими голосами отчаянно прокричали в лица оставляемых нами и отпускающих нас:

– Прощай, филфак!

Первые пять лет я ещё верила в то, что когда-то мы снова скажем ему: «Здравствуй!» Верила и в то, что он нас непременно узнает, потому что мы-то остались прежними, только немного повзрослели и поумнели. И запах аудиторий, и звук фортепиано, на котором играли по очереди все наши филфачные музыканты, пока мы хором распевали про «деревА» и собаку Тябу – это же из нас не выкорчевать никогда! И мы все обязательно встретимся, обо всём договорим, всё нерешённое решим, всё недопетое допоем. И в разгар общего разговора кто-то непременно скажет:

– Ребята, а поехали в лес? Отдохнём, попоём. Сбор у меня. Это недалеко.

И мы поедем.

* * *

Но прошло ещё пять лет, потом ещё пять. Уже родились и повзрослели наши дети. А тоскливое чувство потерянности и брошенности, которое настигло нас в момент прощания с филфаком, с юностью, с наполеоновскими планами, с мечтой о лесе, всё трепетало внутри лампадным огоньком и не позволяло перевернуть страницу. Потом мы начали считать потери. И всё стало ещё беспросветнее.

Я пропустила момент, когда что-то чудесное щёлкнуло то ли во мне, то ли рядом со мной – и всё стало на свои места. Исчезли тоска и бесприютность. Перестало сквозить. Потому что ничто не уходит, никто не теряется. Ни Ольга, так рано сгоревшая на костре собственного таланта. Ни Игорь, оставшийся в Донецке и с Донецком до конца – вопреки всему. Ни Михаил Моисеевич, веривший в нас так, как мы сами в себя не верили. Ни лес, который был рядом и остался рядом – рукой подать. И Сашка наш мощными гребками (он же штангист!) всё режет и режет воду реки, чуть отстав от плывущих девчонок: следит за тем, чтобы с ними ничего не случилось. Светит солнце и слепит глаза, отражаясь от зеркальной воды. Лето.

(1984–2020, Донецк–Томмот)

Емельян
МАРКОВ

МАЯТНИК

1

Они ведь там не понимают,
Что Петербург их – снежный шар.
И гордо космосу внимают,
Как геометр Дезарг Жерар.

Не чувствуют, что на ладони
Стоит их тёмный Колизей,
Святой, другой, и – цвет фелони
Небесной в бледности друзей.

Им кажется, что мира полюс
Означен золотой иглой
И, как эгейскими слезами полис,
Очерчен он балтийской мглой.

Я к вам вернусь, тоской задетый,
Опять войду под этот алый свод
Вокзального рассвета, чопорные дети
Весенних невских вод.

2

Приснилось,
что я живу в маятнике Исаакиевского собора.
И не через свою, через его – силу
иногда выхожу наружу под своды для взора
в сторону
морозящей Малой Морской улицы.
Здесь поровну
сквозняка и запаха устрицы.
И я могу
прилечь прямо на мокрый гранит,
припасть к нему гу-
бами, несмотря на свой хронический бронхит.

3

Памяти М.

Всё сходится к игле Адмиралтейства,
Всё сводится к Петра и Павла шпилью,
И плеск воды, и шелест ленты,
Которую не накрепко пришили.

• **Емельян Марков** – российский писатель, поэт, драматург, литературовед. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза писателей Москвы. Член Союза российских писателей. Член Русского ПЕН-Центра. Лауреат Царскосельской художественной премии (2007).

Мне кажется, что мы могли бы
 Состроить нашу жизнь иначе:
 Любовь моя вне Питера и гибель
 Твоя не всё для равноправья значат –

Для ветреного солнечного дня,
 Когда волнуется так царственно Нева,
 И шпиль до самого струится дна,
 И каждая, как вздох, волна нова.

Тут – жёлтый цвет, тут каждый дом
 Стоит как перед кругосветкой,
 И улица, как вечный палиндром,
 Прочитывается мокрой веткой.

4

ЗМЕЙ

Петербург лучше помещается в сердце, чем в пространстве.
 Пространство его не держит, город сам держит его;
 Посреди пышного и обветшалого убранства
 Занёс руку бронзовый всадник, как дирижер.

Он дирижирует с коня и попирает змея,
 Такого же, в изумрудной патине, как сам он.
 Змей под копытом шелохнуться не смеет –
 Но распластался не мертвый, он видит сон.

Он видит во сне город, зябкий и одержимый
 Собой. Всё это змею снится, а сам он в Индии,
 Не зелёный, белый – лежит под стопы нажимом
 Белого же слона, которого

Собором Исаакия во сне видит.

Всё это очевидно в свете молнии;
 Молния в этом городе живёт сама по себе,
 Она сама, как змея под копытом крамольная,
 И мечется иногда вдруг в золоте и серебре.

5

ОСТРОВ

Излом домов здесь точно рифовый,
 И улицы тесны, как штольни,
 Гуляют парочками рифмы,
 И краска жёлтая сейчас застонет

От собственного тихого кошмара,
 От островной прибоистой тревоги.
 И – всё кренится от лихого шарма.
 С фронтонов властно смотрят боги.

Мне так понятен этот странный воздух
И внятна едкая тревога,
И взглядом я зову морскую воду,
Что плещется у скользкого порога.

Я раньше думал, это только
Обида, тёмная моя болезнь,
Но – волны влагу о ступени колют,
Пытаясь на сухой гранит залезть.

Я здесь нашёл ответный голос,
Вот Анима моя идёт навстречу,
Кусает строго медно-сизый волос
И взглядом чаек малокровных лечит.

6

И зеркало, и стол, и беспокойный блик канала,
Я буду здесь примерно через час.
Меня ты встретила, издалека узнала.
Пусть люди лучше думают о нас.
Мы зла не делали, хоть это невозможно,
Крутым и жёлтым был дворовый срез.
Понять такое, думаю, несложно –
То, отчего мы замирали здесь.
Раздался гром – Нептуна твёрдый кашель
В четвёртом измерении стены;
И небо в ту минуту стало краше,
Выходит вечер из своей тени.
Выходит бог. Он здесь оставил камень,
На нём я утвердил стакан вина.
Зелёный глянec жив в оконной раме,
И бьётся всласть кипящая Нева.
Она кипит холодным звонким шумом,
Она зовёт к себе наперерез.
И мы увлечены бесцельным штурмом,
И мы вовлечены в одну из лучших пьес.
Васильевский, ты отчий кров для театра,
Здесь начиналась кровная игра.
Затоплен Балтикой свинцовый тартар,
И ярче нет четвёртого угла.

7

Давили волны, погружалось солнце,
Как будто раскалённый батискаф,
И дамба замерла в процессе стройки.
Ты улыбнулась и сказала: «Кайф!».

Ещё ты о граните говорила:
Что он един с волнами, он из них,
Как будто море породило рифы
И расколосось в потрясённый миг.

Твой вязкий шаг песку морскому верен
И кудри в свете Балтики черны.
Обращены в согласии на север
Гранита грани и твои черты.

8

PAUPERES SPIRITU*

Здесь на рассвете
Притопит сети
Святой рыбак,
Старик священный.
Соборных рак
Глубокий мрак
Едва не плещет,
Такие вещи...
Я сир и наг.
Но рыбе злато
Горит в руках,
В глазах азартных.
Есть перспектива-то?
Как пахнет тиной тут!
Тускла звезда,
Как сталь гвоздя,
Стезя легка,
Как те проспекты,
Где песни спеты
И день-деньской
Забит доской.
Старуха ушлая
Она – процентщица,
Под шалью кушает,
Она ведь – женщина.
Богиня Грайя
Со мной играет:
То молодая,
То вдруг седая.
Она ли смерть?
В кармане медь.
Шинелька скинута,
Могилка – вырыта,

* Нищие духом (лат).

Обрублена лопатой плеть.
Paupes spiritu
Из бронзы вылиты;
Пустует клеть
В одно окно
Уж как давно.

9

Стены здесь под сырыми мундирами
В силе дня изнывают по мне,
И прицельно открыто мортирами
Небо в траурной белизне.

В ледяном опрокинутом зеркале,
К колоннаде возведшем зрачки,
На канале сверкали и меркли
У отплывшего в лодке очки.

Здесь пространство меня перепутало
С утонувшим своим чертежом
И связало мне голени путами
Перед счастья святым правежом.

Понимаю, что грозного голоса
Слышу эхо я в арке штабской,
Лепестками румяного лотоса
Солнце твёрдо встает над тоской.

Это солнце три дня похоронено,
Но теперь ему время вставать,
Так во дни предназначено оные
Ради чёрного в небе креста.

10

Там другая вода, она – как в замедленной съёмке,
Немо властвует, судьбы решая сплеча,
Так на кадрах шершавых броненосец «Потемкин»
Бьёт волну, обращаясь в неё сгоряча.

Невозможно её на покатоной ладони
Донести до отвесных Казанских колонн;
Камень – в небе и камень – не стонет,
Стонет чёрный чугун вокруг корон.

Я несу по проспекту в озябшей ладони
Небо белое, серый гранита надсад.
Я ищу, но не первенства избранной доли,
А глотка из ладони взыскующий сад.

Максим
ЕРШОВ

БУКЕТ

Рассказ

– Значит, не понравилась Наденька? Жаль!

– Саш, я понимаю, вам по приколу меня сосватать, но мне самому это не нужно. У меня всё в порядке. Второй момент: привели бабу знакомиться, длиннее трёх предложений ничего не сказала, под шашлык три бутылки красного употребила и «ишо» просила...

– Да, набралась лишнего, улетела, но молодая, с дельфиньим телом. Она тебе показала, что здорова, мочевого пузырь крепкий, и заечь с ней можно по полной, – прервал друга Александр.

– Ладно, скажи Вере, на Кубу поеду, но не с Надей. Замену сделаем, времени навалом, – ответил Михаил и положил трубку.

Настроение было отвратительным. Вчерашний день обещал стать ярким и фееричным, но к вечеру сдулся, словно воздушный шарик.

Быстро собравшись на работу, он дошёл до остановки, прыгнул в трамвай, оплатил проезд, плюхнулся на свободное кресло и уставился в окно. Всё было как вчера: по табло перебежали надписи, дополняемые приторным женским голосом, пассажиры заходили и разбредались по салону, вот только курьер с огромным букетом так и не появился. Михаил улыбнулся, мысленно переместившись во вчерашнее.

На Измайловской площади к нему подсел суетливый азиат с букетом, держать который нужно было двумя руками. На следующей остановке вошли контролёры. Увидев их, курьер, забыв про доставку, сайгаком прыгнул на улицу. Трамвай тронулся, повернул в сторону Измайловского парка и покатил по лесу.

Всё произошло так быстро, что Михаил не успел опомниться. Он сидел у окна, а справа его подпирал огромный букет.

– Мужчина, букет ваш? – спросила проверяющая.

– Нет, не мой. Это курьера. Он вышел и забыл про цветы...

– В таком случае мы обязаны полицию вызвать. Трамвай дальше не пойдёт. Взрывотехники приедут и проверять будут, а вы как свидетель пойдёте.

• **Максим Ершов** – член Российского союза писателей и Русского географического общества, путешественник. Лауреат литературной премии «Наследие» (2020), Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2024). Публиковался в журналах «Наш современник», «Родина», «Север», «Всемирный путешественник» и др. Автор книг «Тайны оманского лада-на» (в соавторстве с Г. Леонтьевым, 2017), «Русские боги» (2022). Живёт в Москве.

Тон контролёра был доверительным. Она подсказывала решение, и оно прозвучало.

– Да, мой букет, мой, и выходить мне на следующей, – сам не понимая, как, почему и зачем ответил Михаил.

Сойдя на Партизанской, в сторону метро не пошёл, устроившись на скамейке, решил ждать курьера, но тот на следующих трамваях так и не приехал. Отправиться назад и искать неудачника не позволяло время. Через полчаса он должен был открывать офис, но явиться туда с охапкой цветов означало привлечь внимание к своей персоне.

Обмозговывая ситуацию, он принялся изучать подарок судьбы. Цветочная композиция казалась идеалом флористики. Записки или конверта среди бутонов не было. Собранные воедино ирисы, розы и хризантемы, обнимая друг друга, навевали нежность. Та, которой они предназначались, наверняка бы обрадовалась, но провидение распорядилось по-своему.

Следуя законам жанра, букет требовалось передарить, и это был сложный выбор. С одной стороны, он мог сунуть его любой проходящей мимо девушке, но, если судьба сделала подарок, значит, подсказывает, желая помочь.

Достигнув сорока пяти лет, Михаил дослужился до начальника отдела страховой компании. С работой всё было отлично, а с личной жизнью не очень. Женщин возле него крутилось много, но с выбором он не спешил. Освободившись от брачных уз, наслаждался свободой, которую получил более десяти лет назад. Годы тикали, милашки-девушки переходили в разряд женщин, а женщины-подружки – в категорию бабок, не желавших расставаться с молодостью. Показательной в этом плане стала история с Анной.

Они были ровесниками и развелись в один год. Кудрявая и крепкая телом Анна в гости приходила не более восьми раз, но запомнилась надолго. Узнав, что у возлюбленной дочь родила сына, Михаил в шутку назвал подружку бабой Аней. В очередной раз всплыв и показав характер, мастер спорта по волейболу шлёпнула его так, словно подавала мяч на сторону соперника. Позже выяснилось: возле Анны крутился некий шнырь Валера, и именно в этот момент женщина определилась с выбором.

«Не так страшно стать дедушкой, как спать с бабушкой», – вспомнилось Михаилу, когда полюбовница, хлопнув дверью, едва не разнесла квартиру.

«Нет, Анне дарить не стоит, наверно, как и Ольге», – сверкнуло в мозгах.

С Ольгой отношения развивались динамично. Они казались интересны друг другу, однако, посчитав, что дело сделано и мужик приручён, зазноба начала навешивать на него собственные проблемы. Жена друга работала в туризме. Михаил приобрёл у неё путёвку на Кубу, оплатив за себя и за Ольгу, но они опять поругались из-за ерунды. На первых порах скромная и неприхотливая, почуяв доступ к финансам, женщина начала диктовать условия в виде определённого отеля с окном на море. Михаил объяснял, что это будет стоить дороже, но Ольга, желая оседлать дарёного коня, стояла на своём. Кавалер высказал правду-матку и добавил даму трэф в чёрный список.

Были варианты подарить цветы коллегам, но это автоматически означало задраить планку, выставив себя на разбор полётов. Начнутся разговоры, которые выльются в женские сплетни, дойдёт до начальства, а оно романтики на службе не приветствует.

Чаще всего в сложных ситуациях он обращался к Сашке. Это был старый надёжный друг, на которого можно было опереться. Более того, именно жена Сашки, Валентина, оформляла его на Кубу. В общем, все точки сходились в одном месте.

– Миш, если веник на халяву прилетел, это судьба! Я ща подъеду, цветы заберу, а вечером в ресторан пойдём. У Вальки подруга на десять лет моложе нас. Я тебе ссылку на её Инстаграм сделаю. Посмотришь фотки, не понравится – будем искать другую, – выслушав друга, подытожил Александр.

Они встретились, Михаил передал цветы и поспешил в офис. День начался с переговоров. Погрузившись в работу, он отстранился от утренних приключений, однако друг в очередной раз доказал, что является истинным другом.

Пройдя по ссылке, Михаил попал на прелестницу, от которой невозможно было отвести взгляда. Миниатюрная блондинка запрокидывала назад голову, и её волосы с наслаждением теребил ветер, в рамках дозволенного оголяла грудь, через разрез платья демонстрировала коленку. Поцелуй Нади обещал быть сладким, что подтверждали собранные бантиком губки.

Михаил на красотку подписался, начал лайкать и посылать сердечки. Девушка ответила, отплюсовав его сообщения.

Александр с Валентиной тоже не сидели без дела. Валя позвонила Надежде, обрисовав ситуацию с ухажёром. Сорока растрезвонила, что оформила Михаила на Кубу, он же с повелительницей сердца поругался и ищет замену.

Неподалёку от станции метро Бауманская в прежние времена находилась промзона. В школьные годы Михаил проходил там практику, теперь же одну из крыш переоборудовали под кафе. Из всех ресторанов, где ему приходилось бывать, этот оказался наиболее необычным. Крыша была усеяна эскимосскими иглу. Через прозрачные стены гости могли наслаждаться осенним небом, но и сами тоже оставались на виду.

Инстаграмная очаровашка Михаилу виделась птицей высокого полёта, а большой веник накладывал статус. Ухажёр решил не жадничать: заказал суши, шашлык, рыбу, вино, коньяк и далее по списку. Первым появился Сашка, он передал судьбоносный букет, который должен был попасть в руки Нади.

– Я у Вальки узнал, замужем она не была. Всё должно быть нормально, – напутствовал Александр.

– С такими формами и замужем не была? Странно!

– Ладно, придёт, поговорим и всё выясним.

Убирая случайную листву, октябрьский ветер суетился по крыше, словно старался навести порядок в душе и мыслях. Первое знакомство! Оно всегда навевает романтику. Чувствовать себя молодым приятно. Женатик Сашка это осознавал и в глубине души Михаилу завидовал. Когда в ярком направленном свете прорисовались две женщины, сердце застучало в усиленном ритме.

– Надежда, увидев ваши фотографии, захотел познакомиться лично. Примите эти цветы в знак симпатии, – выпалил Михаил.

В чёрной кожаной юбке и красной блузке с распущенными по плечам волосами блондинка выглядела как ангелочек.

– Спасибо! Какой огромный! Это так неожиданно! Как вам удалось угадать, что я люблю хризантемы, розы и ирисы?

– Ваши глаза, они подобны бездонным озёрам. Любуясь вами, я прочитал ваши мысли.

В словесном вальсе он мог танцевать до упаду. Сценарий знакомств отработывался годами: главное не ужраться, найти тему для разговора, поддерживать беседу, изображая скромнягу, смотреть в глаза, улыбаться, заказать такси и увезти к себе.

Судя по искреннему восторгу, таких огромных букетов Надежда никогда не получала. Впрочем, он и сам ничего подобного никому не дарил. Разговор начался с погоды, зажурчал вокруг креплёного и суши и после третьей взял курс к тёплым морям. В глазах Нади светилась радость. Она дождалась счастья, встретив достойного мужчину!

Желая узнать о своей новой знакомой как можно больше, Михаил всякий раз наполнял ей фужер. Девушка, наклоняясь к цветам, вдыхала их аромат, загадочно улыбалась и на вопросы отвечала междометиями.

Когда коньяк начал подходить к концу, Михаил с удивлением отметил, что женщины осушают третью бутылку, и если Вальку повело, то Наденька, со своими влюблёнными глазами, оставалась трезвой как стекло. Он начал догадываться, что столкнулся с чем-то непонятным. Александру предстояло всех развезти по домам, он не пил, на просьбу женщин о четвёртой бутылке отреагировал ухмылкой, но одёргивать не стал.

Михаил вышел курить. Лучший город земли на боковую не собирался. По дорогам суетились машины, Останкинская башня подсвечивалась прожекторами, а шпили сталинских высоток пытались с ней конкурировать.

Все иглу оказались заняты. Смешанных компаний, вместе с ними, было двести, остальные домики заполняли девицы. Отрываясь по полной, они гуляли, поздравляя друг друга шампанским и чем-то более крепким. Почти в каждой иглу можно было видеть воздушные шарики. Танцы и громкая музыка, сотрясавшая стены, дополняли торжество. Вглядываясь в лица, он понимал: мало кто из девиц был замужем, но все хотели сладкой жизни. Будущий супруг обязан её организовать и поддерживать, а если нет – он не их вариант. На голытьбу, чтобы выйти замуж и родить, блондинки, брюнетки и шатенки были не согласны. Не для того они вкладывались в косметику, фитнес и пластику.

Желая глотнуть как можно больше воздуха, он ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу. Хмель вышел. Посреди искрящего веселья стало тоскливо. Для чего он живёт? Чтобы затащить в постель очередную Юленьку-Наденьку? Большая часть жизни позади, хочется заботы и искреннего внимания, чего краткосрочные подруги дать не могут.

Сознание обожгла мысль о сыне. Как Славка подойдёт к выбору? А что если напорется на женщину-праздник, которая будет требовать денег, денег и ещё раз денег?

Вернувшись к друзьям, Михаил понял, что Наденька дошла до кондиции. Голубые глаза, два бездонных озера, заволкло пеленой, словно Ладогу туманом.

Слегка пошатываясь, она схватила его за руку и потащила танцевать, обещая спеть в караоке.

В машине её развезло окончательно. Девушка начала икать и уснула, что отбило у него остатки желаний. В детстве, отгоняя икоту, мать заставляла его повторять: «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого».

Какому «всякому» достанется потасканная блонди, ему было не интересно. Несостоявшуюся курортницу довели до дома и вместе с букетом затолкали в подъезд.

«Худший демон – это падший ангел, поэтому и замужем не была. Не сумеет открыть дверь, уснёт на лестнице, будет на что голову положить», – с чувством выполненного долга подумал Михаил. В голове дятлом стучало – он обязан завтра позвонить сыну.

Славка отца любил и об их разрыве с матерью сожалел. После коротких фраз, узнав, как дела, Михаил предложил отправиться на Кубу. По окончании техникума Славка устроился на работу, в которой разочаровался, и находился в свободном плавании. Сын за границей ранее не бывал. Под напутствием отца отправился оформлять загранпаспорт, и Валентина через две недели в турпакет внесла изменения.

Выискивая дешёвый вариант, она предложила лететь через Амстердам, пообещав сделать визу. Устроившись в самолёте рядом с сыном, Михаил начал задавать давно назревшие вопросы. Славка вымахал широкоплечим и был почти на голову выше отца. Выставив ноги в проход и ничего не тая от дознавателя-папы, дитяtko отвечал охотно. Из беседы установилось, что девушку он так и не завёл, свободное время посвящал компьютеру и кроме качалки никуда не ходил.

Требовался курс молодого бойца, который нужно срочно организовать. Вылет в Гавану в 10 утра, а это значит, что ночью они могут погулять по городу. Михаилу приходилось ранее бывать в Амстердаме. Расплатившись с таксистом, он повёл сына в сторону улицы Красных фонарей, где фигуристые девицы, никого и ничего не стесняясь, демонстрировали себя.

– Слушай, Славка, у меня нога заболела. Я на скамейке буду сидеть, ну, может, на пару минут за едой схожу. Деньги у тебя есть, прогуляйся вдоль канала, посмотри на людей и ничего не стесняйся. Здесь всё можно, – напутствовал отец.

Когда сын отошёл, раздираемый сомнениями Михаил, в темноте прячась за прохожих, отправился за ним. Славка брёл по улице, изредка поворачиваясь в сторону девиц, но нигде не останавливался. Театр для взрослых проигнорировал, зато завис возле новомодного велосипеда и стал его изучать. После, остановившись на мосту, любовался кораблями.

Когда они встретились, отец решил изменить тактику. Ему было интересно понять, как обстоят дела с куревом. Найдя нужное заведение, заказал кофе, сосиски и пару косяков. Последнее Славку не прельстило. Не желая отказывать отцу, он сделал пару затяжек и начал кашлять. У Михаила отлегло от сердца. Траву в молодости он пробовал неоднократно, но тот факт, что для сына это в новинку, порадовал.

Куба встретила голубым небом, пальмами, мулатками, морским бризом и ярким солнцем. Добравшись до Варадеро, они заселились в отель и отправились на пляж. Когда Славка был маленьким, пару раз его вывозили в Анапу, но до Турции и Египта так и не дошло. И вот теперь отец с наслаждением наблюдал, как его ребёнок, приноровившись к волне, разбивал в брызги Атлантику.

В полуденный зной они отдыхали под кондиционером, а вечером, искупавшись, отправлялись на променад. Шли в магазин для иностранцев, где покупали сигары и ром, и, устроившись на балконе, наблюдали за закатом.

На третий день ничегонеделание надоело. Михаил предложил съездить в Гавану. Добравшись до столицы автобусом, папа и сын прогулялись по центру, прокатились на раритетных авто, посетили кафешку Хемингуэя и, сбившись с пути, оказались в непонятном квартале. Как добираться до центра и до автовокзала, оба представляли, но с возвращением на Варадеро решили не спешить. Устроившись на скамейке, перекусили чем было, дополнив ромом.

К туристам подошёл темнокожий кубинец. По-испански Михаил мало что понимал, а Славка тем более, но Педро был настойчив. Обрисовав руками параметры 90-60-90 и озвучив про 20 долларов, парень в бейсболке предложил следовать за ним.

После рома у Михаила прострелила идея: если у сына до сих пор не было женщины, пусть попробует. Спиртное вывело Славку из меланхолии, и он без лишних слов последовал за отцом. Педро привёл их в подвал с потолочным вентилятором и кроватью, где по его приказу выстроились девушки. Сочные и зрелые, они оголяли тела, стараясь соблазнить прелестями.

– Ну что, сын, я плачу. Действуй. Начинать когда-то надо. Давай, попробуй. На улице подожду.

Раскрасневшийся Славка напоминал варёного рака. Сперва робко, а потом уверенно он замотал головой и выдал то, чего отец не ожидал услышать.

– Нет, пап, ты знаешь, я так не хочу. Мне хочется, чтобы это в первый раз как у тебя с мамой было – по любви. Но если ты Педро уже что-то дал, не пропадать же деньгам! Давай лучше ты, это я на улице подожду.

Большой комок подступил к горлу, и Михаил едва не заплакал.

– Сынок, я при тебе стесняюсь. Бог с ними, с деньгами, поехали в отель.

На автовокзал не пошли. Таксист запросил безумных денег, но Михаил спорить не стал. Думая каждый о своём, всю дорогу молчали. Когда добрались до номера, Михаил достал из холодильника шоколад, фрукты и бутылку и пригласил сына на балкон. Накатив сто грамм, Славка отправился спать, предоставив отцу разбираться в воспоминаниях, во временах молодости, где всё было понятней и проще.

Со своей первой девушкой Мишка познакомился перед армией. Через пару недель нужно было явиться в военкомат, и он в гостях у друга слушал напутствия. На улице благоухала весна. Высунувшись в окно, школьный товарищ Дмитрий неожиданно прокричал:

– Девчонки, идите к нам! У нас пиво есть!

Удивительно, но они пришли. Так Мишка познакомился с Наташкой. Ждать его из армии она не стала и через год вышла замуж. Вернувшись домой, с друзьями в парке он отмечал дембель. Начался дождь, в беседке появились незнакомые ребята, слово за слово – и началась драка. Мишке разбили нос, и совершенно незнакомая девушка оказала ему первую помощь, и звали её Мариной. Через год поженились. Молодые и бедные, кроме любви они не могли ничего дать друг другу.

Когда родился Славка, Михаил с удовольствием гулял с ним по парку. Больших денег не было, при этом всё лучшее они старались дать сыну.

Если в бильярде один шар отталкивает другой, запуская цепочку ударов, то и в жизни именно так. Решив, что муж ей не подходит, некая Анастасия, красивая и смелая, начала искать замену, встретила Михаила, выцепила его из семьи и через год отправила восвояси.

С Маринкой всё произошло по Евтушенко – та, у которой он оказался украден, в отместку тоже стала красть. Михаил решил вернуться в семью, но место, увы, оказалось занято. Бывшая жена переехала к любовнику, которого нашла, чтобы утереть нос бывшему мужу.

И теперь, по прошествии времени, самый близкий и самый родной человек спал рядом с ним на боку, подложив руку под голову. Михаил вспомнил, как сын заболел, и как он всю ночь провёл в поисках лекарства, как они учили буквы, играли в машинки, переодевались в мушкетёров.

Вглядываясь в лицо сына, Михаил понял, что всю жизнь любил её – её одну, а всё остальное не более чем способ уйти от действительности.

Ольга
ОЛЕЙНИК

СТИХИ

* * *

Фрида сегодня не плачет. И не грустит.
Больше не страшно. Прежнее не болит.
Там, где ещё вчера остриём насквозь,
Стебель зелёный вдруг изнутри пророс.
Фрида ведёт себя на белёный холст...
Фрида напишет птиц, несожжённый мост,
Гибкие стебли, фрукты, морскую соль.
Ну а сегодня... Фрида рисует боль.

Синим по белому – нежность и чистота.
Жёлтый – безумие. Солнце, лишь иногда.
Больше безумия – зеленоватый свет...
Чёрного ничего в самом деле нет!
Фрида смывает боль и грунтует холст.
Нынче ответ на всё до смешного прост –
Сочная мякоть, зёрен извечный круг...
Viva la Vida – славься и будь вокруг!

Фрида отрежет косы, отложит кисть.
Фрида испить готова до капли жизнь.
Бабочкой яркой боль на её пути –
Фрида и в боли может себя найти!

Синим по белому – нежность и чистота...
Фрида рисует солнце в углу холста.

* * *

Для радости нежданной столько знаков,
что будто меньше смысла для тревог.
А снятся очертания бараков
И люди вдоль ухабистых дорог...
Земли изрытой жалкое юродство,
сырых оврагов мутная тоска.
Бездомность, неприкаянность, сиротство,
звенящие, как пули у виска.
Не изменить. Не спрятаться, не скрыться.
Держаться друг за друга до конца.

• **Ольга Олейник** окончила Российский государственный социальный университет. Работала в сфере образования и культуры. Участница молодёжной Литературной студии «Современник» при Воронежском отделении Союза писателей России. Лауреат XXI Международного фестиваля женской поэзии имени Зинаиды Филатовой (2024, г. Новый Оскол). Автор поэтического сборника «Светотени» (2025). Живёт в Воронеже.

И может, завтра мне ещё приснится
зелёный склон в соцветьях чабреца,
родных домов нетронутые крыши,
цветущих яблонь полные сады...
Далёкое, желанное затишье
вдали от громких выкриков беды.

Я верю в нас. И верю этим снам,
идушим по реальности следам.

* * *

А за спиной стоят незримо опорой крепкой на года,
оставшиеся навсегда, ушедшие необратимо.

Мои...

Услышанные в снах – внимающие мне вживую,
прожившие свою земную, запечатлённую в веках.

Мои...

То нужные слова, то ветвь зелёная живая –

с того невидимого края, заметного для нас едва.

И просьб заветных в тяжкий час приняв надрывное моление,
передают благословенье, чтоб родовая нить вилась.

И я от каждого сквозь тьму, сквозь разлучающее время,
грехов мучительное бремя лишь только светлое возьму.

Мои...

Со мною навсегда, помянутые добрым словом,

под тонким памяти покровом – опорой крепкой на года.

* * *

Я остаюсь. Ты зажигаешь маяк.

Лодка у берега. Ветер попутный. Звёзды.

Мне, если что, доплыть до тебя – пустяк.

Время – моё. Мне никогда не поздно.

Нет, не гаси. Пусть и теперь горит.

Лишнее за борт. Мне отпускать несложно.

Свет на воде тропею во тьме лежит.

Я по нему – бесшумно и осторожно.

Звёзды. Маяк. До боли знакомый путь.

Я выбираю плыть. Говори со мною!

Несколько слов, как веру, в меня вдохнуть.

Пригоршню сил, пока я борюсь с волною.

Эта любовь не омут – земная твердь!

Я выбираю тихо, но всё же плыть.

Машет прощально с мола старуха Смерть.

Всё остальное надо забыть, забыть...

* * *

Выходить из большого отчаяния не одним махом, а маленькими шагами,
держась за ниточку света (без привычных знакомых схем),
что так хрупко всегда продета между жизнью и небытием.
Вот по этой полоске тонкой – шаг вперёд, назад, потихоньку.
Из застенков и закоулков – под широкий небесный свод.
Не остаться, не повториться...
всё же заново сотвориться.
И смотреть из себя вперёд.

ПИТЕР

Он, видимо, божество, а не просто город.
В его карманах туман с Невы, высокий ворот
Башен поднят, изящные рукава мостов.
Он самый стойкий среди богов.

Не любить нельзя, расставаться можно.
Уходить не прощаясь. Осторожно
Вдыхать водяную пыль фонтанов.
С ним самый бурный из всех романов.

Перила лестниц, балконы, крыши...
Он говорит, он живёт, он дышит!
Я вместе с ним, во всю грудь, в унисон.
Он самый трепетный давний сон.

Я на ветру его – беззащитная, хрупкая...
Становлюсь крыльями, его голубкою...

* * *

На берегу раскинутая сеть –
на сушку под дневным холодным солнцем.
Рыбацкий домик, мутные оконца,
в какие больше некому смотреть.
Ушедший в море ищет не себя.
Он там себя нечаянно теряет,
когда волна с рычанием швыряет
и рвёт на части тело корабля.
И может, нет обратного пути...
но домик ждёт и солнце сушит сети,
и носит по камням прилудный ветер
обрывки ветхих нитей из сети.
А ночью звёзд щепотка за бортом,
и окон муть прозрачна в лунном свете.
Ушедший терпеливо чистит сети,
хватая воздух пересошим ртом.

* * *

Июнь пошёл скользить зелёной ниткой,
Шуршать по годовому колесу.
Сейчас бы тихо выйти за калитку
И потеряться в сказочном лесу.
Заглядывать во влажные овражки,
Брести за лешим в чашу наугад.
И осторожно прятать под рубашку
Добытый на болотах древний клад.
И под корявым корнем старой ели
Свою котомку с болью закопать,
Чтоб то, что стать любовью не сумело,
Могло здесь новой жизнью прорасти.
На посошок напившись пряных зелий,
Идя назад сквозь хвойный аромат,
Смотреть, как над зубцами тёмных елей,
Прощаясь, гуси-лебеди кружат.

* * *

На камне пляшут тени, и цветам,
склоненным ниц к зелёным волнам сада,
дыханием дотягиваться надо
к хранящим их неведомым богам.
А тени, не познавшие покоя,
отпущенные в призрачный полёт,
быть может, мне указывают вход
туда, где что-то знаю я другое.

А значит, сны... Которым нет конца,
где я ищу заветные ответы,
где прячет кто-то истины приметы
в штрихах тончайших моего лица.

* * *

Белый дым над землёй. Как же слышно...
Мимолетных касаний штрихи –
Осыпаются старые вишни,
Словно мне отпускают грехи.
Многозвонный колыхается ветер,
Белой пеной шуршит у пруда.
Вместе с кружевом хрупких соцветий
Облетают былые года.
Но в вишнёвом тенистом проулке,
В белом дыме живых лепестков
Снова слышен и нежно, и гулко
Звук моих ещё юных шагов.

Елена
ШУМАРА

РАССКАЗЫ

ТАКОЙ ЖЕ, КАК Я

Я лежу в больнице. Лежу давно, может, с мая. Сейчас-то уже октябрь, и листья под нашим окном снуют, как скомканные бумажки. Дни тоже мнутся и, шваркая, катятся куда-то ребристыми колобками. Я провинился. Наверное. Иначе почему меня сюда положили? Ведь чувствую я себя хорошо.

Родители говорили: будешь плохим – пойдёшь в больницу. Они говорили мне это и в семь, и в десять, и после. Они пугали меня больницей, словно кладбищем или тюрьмой. Я старался как мог. Но теперь, в тридцать два, я плохой. И меня, наконец, положили.

Оказалось, больница – это не так уж и страшно. В палате светло, кормят кашей и супом (с весны я привык и к супу, и к каше), каждый день чисто моют полы. Доктор похож на пирата Весельчака – круглый и пороссячий. Халат у него необычный, белый с синими строчками. Когда доктор садится рядом, я считаю стежки. Зачем? Я хочу быть похожим на брата. И знаю: когда брат приходит меня навестить, то считает эти стежки быстрее и правильнее, чем я.

Сосед у меня один. Худой и циркульно длинный. Со мной ему скучно, и он всё время молчит. Лежит на боку – чаще поджатый, как напуганный птицей червяк. Думаю, у него живот. В смысле, болит. У меня не болит ничего.

Туалет далеко, в конце коридора. Можно идти и думать, что ты – в катакомбах, особенно ночью. Стены кренятся, давят и дышат, и это приятно. В женских палатах лежат в одеялах тёплые тётеньки. Хитрые, с пятым размером груди. Но я – в катакомбах, и тётенькам меня не поймать.

В общем, если ты не болеешь, в больнице вполне можно жить. А я не болею. Я провинился. Сильно, настолько, что родители не приходят. Но брат приходит, почти каждый день. Такой же, как я. Метр семьдесят пять и три миллиметра, сорок пятый размер, тридцать два года и месяц. Рыжий, с родинкой над губой (от края губы – сантиметр). Такой же, как я. Но только снаружи.

• **Елена Шумара**, российский поэт и прозаик. Лауреат национальной литературной премии «Рукопись года» и премии имени Виктора Голявкина за роман «Если я буду нужен». Рассказы и стихи опубликованы в различных сборниках, журналах «Аврора», «Дон», «Дружба народов», «Литература», «Формаслов» и др. Лауреат первой премии Международного конкурса рассказа имени В. Г. Короленко. Живёт в Санкт-Петербурге.

* * *

Родители нас различали легко. И всего покупали поровну: две кровати вдоль одинаковых стен, два одинаковых шкафа, два одёжных комплекта, позже сносенных одинаково. Зайцы, тарелки, учебники, лыжи – как под копирку. Но мы точно знали, где чьё. И к чужому ни разу не прикоснулись.

Брат всегда был лучше меня (лучше он и теперь). Он умел посчитать, сколько трещин в асфальте – мигом. Ноги и уши мыл сам, потому что хотел. Следил, чтобы я не забыл чего-нибудь в школу. Стихи читал без запинки (я мямил и путал слова). Ему никогда не грозили больницей. Больница – она для плохих. Я мог стать плохим и уехать в больницу. Брат бы в неё не уехал.

Не знаю, что я такого сделал. Родители знают, и ладно. Сказали ли брату? Наверное, нет. Он ведь приходит почти каждый день. И значит, жить ещё вроде бы можно.

* * *

Пять дней, как в больнице она. Новая медсестра. Младше нас с братом на год и четыре дня. У неё хорошая грудь, и из-под шапки лезут чёрные завитки волос. Ногти сестра не красит, и видно, как внутри они кое-где исчириканы белым. Семь с половиной коротких штрихов.

Теперь я люблю пить таблетки. Сестра даёт мне стаканчик, а я беру его и касаюсь прохладных пальцев. Уколы теперь я тоже люблю. Ложишься, спускаешь штаны. Она трёт тебя ваткой, немного вонючей, и – вжик! Иголка входит в тебя – как в песок страусиная голова. А сестра говорит: «Потерпите».

Проходит ещё пять дней, и я признаюсь ей в любви. Глупо так, при соседе. Но тот не слушает, смотрит в стену, будто там повесили телевизор. Сестра улыбается и называет меня симпатичным. Я предлагаю ей замуж. Она качает чёрненькой головой (сегодня без шапки) и говорит, что можно, да, но надо слегка подлечиться. Только бы не узнала, что я ничем не болею, что я плохой! Лишь бы родители ей не сказали.

* * *

Брат приносит мне апельсины. Они толстокожие, чистятся очень легко. Я ломаю один, очищенный, пополам и хочу поделиться с соседом. Но его забирают на процедуры. Брат апельсин не берёт. Говорит, я неровно его разломил. Ладно, не надо. Пальцы приторно пахнут, и я прячу руки под одеяло.

Заходит врач – шарик на тонких ножках. За ним – моя медсестра. Врач тянет мне веки вниз, хлопает по плечу. Пишет в блокнотик десять недлинных слов. Брат – такой же, как я – берёт плохо сломанный апельсин. Хотите, сестра? Да, почему-то хочет.

Вечером она пахнет моим апельсином. Говорит: вы с братом – одно лицо. Красивая, но я не могу её видеть.

* * *

Брат теперь ходит в те дни, когда её смена. Сидит по часу на жёстком стуле и ждёт. Читает мне книги – новостей так много не накопить. Она забегает минут на пять. Слушает его голос (такой же, как мой), ест бескосточковый виноград. Думает, будто брат – это я, только совсем здоровый. Но он – не здоровый. Он просто лучше меня.

В детстве брат бесился от ерунды. Мог заорать, если ложка лежала криво. Я тоже орал, чтобы брату было полегче. Он не давал выкидывать старые вещи – вдруг ещё пригодятся. Такие же вещи хранил вместе с братом и я, понимая, что пригодиться они не могут. Если мы с кем-то знакомились днём, перед сном он твердил имена – по часу и даже больше. Я, конечно, твердил вместе с ним. Иногда мне хотелось треснуть его хорошенько. Но это было бы плохо, и я бы поехал в больницу, вот как сейчас. А он бы остался дома.

* * *

Медсестра красит ногти к приходу брата. Потом весь день пахнет лаком и сладкой сиренью. Я сижу в одеяле, как крот, с головой, и зажимаю нос. Мне хочется ей напомнить, что любит она меня. Но надо решиться, надо отклеить язык от зубов. А брат слишком часто приходит. Я крот, каждый раз, с приклеенным языком.

Пятое ноября. Мы с сестрой остаёмся вдвоём. То есть троём, с соседом, но сосед никогда не мешает. Брата сегодня не будет, дела. В пакетике – брат принёс в прошлый раз – немного солёной соломки. Мы берём по одной и молча обкусываем соль. Потом я решаюсь и говорю медсестре, что я у неё – один, и всегда был один. Брата нет, понимаешь? Она, ломая соломку, сжимает пакетик и отвечает: «Да, понимаю. Один».

* * *

Родители говорили – будешь плохо себя вести, ляжешь в больницу. Я вёл себя хорошо. Но хотел две кровати, два шкафа, двух зайцев и две пары пахнущих ёлкой лыж. Мне иногда покупали, но я всё равно был один в затхлом мире, где всё лежало не на местах. Орал, если вилка и нож – под углом, если резали яблоко не пополам. Твердил имена, прятал вещи, тайно считал миллиметры и миллиграммы. Родители умерли друг за другом, и я испортился, быстро. Нахватал на последние деньги всего по два, и дважды по два, а кое-чего – и трижды. Всё было ровно и поровну. Всё было точно по плану. Но очень недолго. Приехала тётка и положила меня в больницу.

Я крот. В больничном клетчатом одеяле – сто тридцать пять моих нор. И в каждой норе – пустота. Светлее, темнее; наверное, дни идут. Но мне всё равно. Когда ты один, тебе незачем вылезать.

«Снег», – говорит сосед. В щёлку я вижу, что он сидит. И ноги его, с виду такие ломкие, почти достают до моей кровати. Сосед берёт с тумбочки апельсин.

С рыжей и пористой кожурой. Чистит, ломает неровно. «Тётка твоя принесла.» Тянет мне тощую дольку. Кисло, но вкусно. И снег за окном. Я начинаю считать снежинки.

* * *

Моя медсестра, в шапочке и без лака, гладит меня по руке. Я не хочу её. Снова. И теперь уже навсегда. Зачем я влюбился? Наверное, было скучно. Врач говорит: «Кажется, нам стало лучше?». Охотно киваю, лучше, намного. Он добавляет: «Если так будет и дальше, выпишем, что же нам стоит». Я отвечаю: «Если брат разрешит». Врач смотрит на медсестру, та пожимает плечами. Да, не хочу её. Точка.

Обед мне приносят в палату. Суп молочный, и на второе – тёплая гречка. Кладу гречку в суп, так вкуснее. Когда остаётся доесть две неполные ложки, в дверь аккуратно стучат. Я улыбаюсь. Метр семьдесят пять и три миллиметра, сорок пятый размер, тридцать два года и сорок шесть дней. Рыжий, с родинкой над губой. Такой же, как я. Но только, конечно, снаружи.

ДАНТИСТ ИВАНОВА

Зубной врач Иванова дала объявление:

«Одинокая женщина, 35, домоседка, без материальных проблем, познакомится с честным мужчиной. Обещаются чистота, уют и здоровое питание. По вечерам – шахматы, книги. Глаза голубые, шатенка, имеется талия. Профессия интеллигентная».

Объявление напечатали в одной из местных газет. Иванова купила номер в киоске. До дома не донесла, развернула. Газета хрустела, пачкала пальцы и пахла... ну как они пахнут все, неприятно. Но Ивановой, абоненту номер 344, было приятно вполне.

Стали писать Ивановой мужчины.

«Художник. Был в браке, но скоро развелся за неимением чувств. Ищу себе новую музу 170/50/бюст от 3 и выше».

«В шахматы не умею, зато с детства приучен к тромбону. Сыграю на вашей ж/п. Если соседи не злые».

«Больше всего я покушать люблю. Станешь кормить как в Кремле – поженюсь. А иначе забудь обо мне»

Иванова то плакала, то смеялась. Пока не пришло ей письмо от Минькова Сергея. На фото Миньков стоял у большой берёзы. Чисто Есенин, только прическа поглаже и ямочки на щеках. Почерк невнятный, но с решительной тильдой над буквой «т».

«Здравствуйте, милая... 344! Мне 37, женат ещё не был, но чувствую – всё, пора. Характер спокойный, в еде неразборчив, а что до шахмат – так научусь. Предлагаю встречу у кинотеатра «Максим» пятого сентября. Буду ждать с девяти утра».

Чёрная муха, уже по-осеннему мятая, села на край скамейки. Иванова расстегнула и застегнула обратно верхнюю пуговицу плаща. По глупой привычке – приём в поликлинике в девять – она пришла раньше на двадцать минут. Было тепло, ветер гонял жухлый лист по выщербленному асфальту. У входа в кинотеатр белая с серым кошка мыла заднюю лапу.

Миньков появился в девять, точный, как граф Монте-Кристо. «Хоть бы военный!» – подумала Иванова. Хотя ничего военного в Минькове не наблюдалось. Всё тот же сплошной Есенин, пшеничный и золотой. Иванова вскочила навстречу – мало ли, расхватают! – и замахала тем самым письмом.

Потом они ели пломбир, вкусный, в вафлях, и без умолку говорили.

– А я на окне вырастил помидор!

– А я – огурец, во такой!

– А я раньше дыньку присаливал, бабушка научила.

– А меня дед учил вермишель есть с вареньем!

– А я не люблю футбола.

– И я не люблю. Ну его, твой футбол!

– А ещё, – Миньков бросил кошке кусочек вафли, – я страсть как врачей зубных не люблю.

– А я люблю! – пискнула Иванова и уронила слезу в подтаявшее мороженое.

Миньков хмыкнул и вытянул ноги. Солнце тепло и бесстыдно целовало его в гладкий нос. Он щурился и не видел, как Иванова, номер 344, спешно доедает пломбир. Видно, одна ей дорога – к тромбону. Вроде соседи не злые...

Подошла тётка, с бюстом «от трех и выше», ткнула Минькова в плечо:

– Сергей Александрович, здрасьте! Спите вы, что ли? Я на приём к вам приду, видите, дырка какая?

Тётка по-кашалотски разинула рот. Дырка и правда была – на левой нижней шестёрке. Миньков всполошился, испачкал тётку бумажкой от съеденного пломбира, тысячу раз извинился. Когда тётка ушла, Иванова насморочно сказала:

– Не любим, значит, зубных...

– Боимся, – вздохнул Миньков, – но уважаем. Всё же коллеги. А ты кем работаешь, к стати?

Иванова расстегнула пуговицу на плаще.

– Пока не скажу, секрет.

– Учительница, должно быть.

Миньков подал ей колечком руку и мягко, по-есенински улыбнулся.

Елена
КОЛЕСНИКОВА

СТИХИ

МОТЫЛЁК

Легкомыслица красок медовых
Седину запятнала травы –
Сонно-розовый, томно-лиловый
И чуть-чуть – синевы.

Золотая теперь серединка –
День ни тёпел стоит, ни горяч,
Не заметишь – промчит по тропинке
Мелкий дождичек вплачь.

И всё чаще по сердцу печально,
Не задев, пропорхнёт мотылёк –
Райских красок образчик нетканый –
Дуновенный, как будто случайный,
Расписной лоскуток...

ОТГОЛОСКИ

Когда ветра ваяют на кружале
Ночном эскизы будущих погод,
И, изменяясь в облике, плывёт,
Сияя зернью звёзд – велико в малом,
Над нами небо шири небывалой,

Где бестревожны воды тишины
В верховьях судеб наших разноликих,
Где только свет, и мы – ещё не мы,
Другое небо, к вечности приникнув,
Ваяет жизнь – великое в великом.

И свет душа предчувствует моя,
По веткам воск жасминовый расплёскан,
И в глубине печали соловья,
Мольбы его – пронзающе-неброской –
Предвечного смиренья отголоски...

• **Елена Колесникова** окончила музыкальный факультет Самарского государственного педагогического университета. Публиковалась во многих литературных журналах и альманахах. Автор сборника стихов. Лауреат Международных литературных конкурсов им. А. Н. Плещеева (2024), «Большой финал-2024», премии «Золотое перо Руси-2024» и др. Член Союза писателей России (2025). Живёт в Воронеже.

* * *

Минул дождь, в небе стайки – узоры,
Будто пёрышком кто исчертил,
У тюльпанов на донцах фарфорных
Подсыхают остатки чернил.

В средоточии вихрей стрижиных
Не спасёшься – тужи не тужи,
Так махнем к серебристым вершинам
Окрыляющей силой души!

Из мелькнувшей своей полусотни
Шумных вёсен и ветреных лет
Этот день, словно свежие соты,
Самым солнечным был на просвет.

И взволнит, и ворвётся стремнинно,
И вольётся – тужи не тужи –
Неизбежность тоски соловьиной
В кровеносное русло души...

СИРЕНЬ

Вишнёво-яблоневый фронт
Сменён сиреневой прохладой,
Вдоль русла улицы, вразброд,
С пурпурной пышностью плывёт
Кустов цветущих кавалькада.

Нависнув низко над землёй
И залиловив окна густо,
Грозится вспененной волной
Обрушить нежный натиск свой
На дом, поблекнувший от грусти.

Но помнив кровное родство
Весны с любовью изначальной,
Прошу – переполняй, печалуй,
Огнём прохладным расточая
Покои сердца моего.

ДЕТСТВО

Прибрежье счастья, солнечная твердь –
Моё святое царственное детство!
Ему навек дано во мне гореть
С неистребимым мраком по соседству.

Вдали, где башни сосен – золоты,
 Где сказочного леса – тридевятость,
 Поверженные детские мечты,
 Развенчанная царственная радость.

В потёмки звёзды первооткрывать
 Скользнёшь тайком в незапертые двери
 И в синюю – с разлёта – благодать,
 Мне безраздельно данную по вере.

И вдруг – лавины крупнозвёздной сход,
 Оторопев от ужаса, замрёшь вся,
 И будто к бездне огненной несёт –
 И крикнешь: «Мама! Мама!» – и проснёшься...

ДРУЖИЩЕ-ДОЖДЬ

Это снова ты – блестяще! –
 На душе так было сухо.
 Этот шёпот шелестящий –
 Просто музыка для слуха.

Ты опять забыл галоши
 И очки? – слепой раззява!
 Что ж, бери мои – в прихожей,
 Там, где синий зонтик – справа.

Вот – очков волшебных пара,
 А иначе будет трудно
 Разглядеть за серой хмарью
 Этот город изумрудный.

Ну, давай, дружище, нашу –
 С барабаном в увертюре,
 Что придумать можно краше
 Этим утром скучно-хмурим?

Помнишь – на каштанах завязь,
 Под зонтом – в холодной луже –
 В первый раз я целовалась
 С тем, кто был мне очень нужен.

Ты стеной стоял и нервно
 В яркий, словно небо, купол,
 Мой приятель – самый верный,
 То ли плакал, то ли стучал...

Что, уже? А мы хотели
 Рисовать лучом по крыше...
 Будет время, на неделе
 Залечу к тебе, повыше.

Ты смахнешь слезу небрежно,
Прошуршишь: «Бродить по лужам?»
Я отвечу: «Ну, конечно,
Ты мне очень-очень нужен».

МОЕМУ ГОРОДУ

Бесснежной ночи тьмолюбивый дух
Мертвит пустооконные провалы –
Забылся город в огненном бреду
Последней схватки силы небывалой.

Под вой – неутолимый – тишины
Скосившимися тёмными крестами
Безвинные ровесницы войны –
Сосёнки истревоженные встали...

Сметает утро тускло-звёздный лом
В небесные пробоины и ямы,
Светлеет лес, пришедший на поклон
К бессильно замирающему храму.

Ты ограждал нас каменной стеной,
Мой звонный город, витязь златошлемный,
Ты вырастал сияющей горой
На тёмных духов ночи запредельной.

Ты нас спасал, от нечисти храня,
И верю я – в пылу незримой битвы
Когда-нибудь и я спасу тебя
Своей негромкой огненной молитвой...

* * *

Пуская прахом золото своё,
Весна исходит солнечными днями,
И воля, развенчавшая её,
Неведомо свершается над нами.

Опять неотцветающая грусть
По вечерам бывает в сердце вхожа,
И не затмить ничем, не обмануть
Мне память вёсен – светлых и тревожных.

Не отменить взросления печать...
Зарыв лицо в сиреневую мякоть,
Горчащими глоточками вдыхать
И в два ручья, по-девичьи, заплакать.

И вдруг – из полувыветренных снов –
Пахнёт любимой маминой ранеткой
И дождиками, с кипенных садов
Молочную сдувающими пенку...

* * *

До самой своей золотой сердцевинки,
Медовится небо созрелое – соком,
Калины – подружки с цветами в корзинках
С утра запропали на речке – за логом.
Никто не указ им – зелёным да ранним,
Не взвидишь – как трав подрастёт поколение,
А сколько забот, хлопотни – наказанье!
А кружев, шелков – первый бал у сирени...
Отняли едва от кормилицы-тучи –
На зависть всем ёлкам цветёт – вековухам,
И всё же поверим – воздушно-летучим,
Цветочным, таким легкомысленным слухам,
О близости лета и вечного счастья –
Всем сердцем поверим – ведь это не трудно –
И зорька над речкой – весеннее чудо –
Себе присмотрела вечернее платье...



Анна
ЦАРЕГОРОДЦЕВА

СТИХИ

* * *

Мне нравилось прятаться от перемен
За стенами некого города N.
И пел там мне оперу маленький хор,
И пьесу играл престарелый актёр.

А я всё боялась вселенского краха,
Потом своего испугалась я страха
И маленький город сама взорвала,
Боясь испугаться. Такие дела.

Потом убрала все коробки с балкона,
Потом поменяла модель телефона.
Тогда у меня побежала по венам
Большая любовь к небольшим переменам.

* * *

Звуки скрипки из маленьких окон
Под унылые хмурые взгляды.
Все живут, завернувшись в свой кокон,
И соседскому счастью не рады.

Пианино, пропахшее лесом,
Звуки клавиш похожи на стоны.
Так непросто бывает принцессам,
Потерявшим однажды корону.

Что ты ищешь на грязном бульваре?
Я боюсь протянуть к тебе руки.
Каждой твари должно быть по паре,
Если речь не идёт о разлуке.

Но корону отыщем мы вместе,
Будем править в своём королевстве.

• **Анна Царегородцева** – лауреат Вероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» (2024). Участник Зимней школы поэтов в Сочи (2025). Поэтический дебют в журнале «Изящная словесность» (2017). Живёт в Москве.

* * *

Мы – подданные своих страхов. Вечно
Мы боимся так и не достичь идеала,
И в борьбе за попытку стать безупречными,
От себя прячемся под свои одеяла.

Дети просят не выключать свет в коридоре,
Чтобы ночью выйти из комнаты было не страшно.
Мы боимся случайно вспомнить о том позоре,
Скорее казусе, что приключился однажды.

В летнем лагере кто-то из старших стучал в окно,
Весь отряд от испуга вжался в свои кровати,
А потом на твоём матрасе нашли пятно,
Желтоватый след на серой от грязи вате.

Ночь от ночи становится не короче, не длинней,
Я боялась не темноты, а того, что в ней.

ПРО ТЕБЯ И ПРО МЕНЯ

Триптих

I

А он повторял мне: «Аня-Аня,
Мы не прощаемся, до-сви-да-ния».
И резало небо солнце апрельское,
Когда было имя мое еврейское
Курсивом на теле его набито.

Оно поселилось на левом плече,
А я, рассмеявшись, спросила: «Зачем?
Ведь, кажется, ты не владеешь ивритом».

А он отвечал: «Ну и что, наплевать,
Достаточно чувствовать, чтоб понимать».

И если к себе прижимал меня он,
Я к сердцу была сразу с двух сторон.

Я раньше не думала даже:
Счастливым хурма не вяжет.

Им по лодыжки море –
И время как таковое
Отстукивает одним:
Когда я увижусь с ним?

Тянется ниточка
Нежных ночей,
Я глажу слова
на твоём плече.

II

Красновато-колющий огонёк
Загорается цветом моих щёк.
Разгорается силой твоих рук –
И огонь убаюкивает испуг.

И любовь разрастается бересклетом
И запястья обхватывает браслетом.
Мы с тобой от макушек до пальцев ног
Обернулись в пляшущий огонёк.

Мы с тобой оборачиваемся в поросль,
Представляешь, когда-то мы были порознь.

III

Ты выстукивал буквы моего имени.
Ладонь-лодочка путешествует по столу:
То на поверхность внезапно вынырнет,
То еле держится на плаву.

Я улыбку чуть-чуть проглатываю,
Уголками губ до конца держусь,
Я читаю тебе Ахматову
И улыбаюсь – боюсь – боюсь.

Я вспоминаю: за поцелуями
Бился страх, не совсем прикрытый
Счастьем крепким и многоструйным,
Многогранным и монолитным.

И сегодня от аритмии
И от страха я как под пленкой.
Если дочь – назовём Софией.
Представляешь – мы ждём ребенка.

* * *

*Встаньте дети, встаньте в круг,
Будущие пользователи «Госуслуг».*

Нас у мамы трое,
Нас мама растила с любовью.

Она появилась в утробе Наташи,
Её не спросили и сделали старшей.
Она наносила хайлайтер на скулы,
Летающие вниз плавниками акулы,
И верила в то, что дрожащие руки
Консилером скроют подскульные звуки.

Но что ты тут спрячешь, когда желваки,
Как жабры у рыбы вдали от реки?
Она, не умея, молилась во имя,
Ведь смерть – это то, что бывает с другими.

Он смерти не верил. Не верил и Богу,
И даже не сам себе выбрал дорогу.
Его не спросили. Сказали: «Иди!» –
И *он*, ошалевший от счастья в груди,
Решил, что ему открывался весь мир,
Хотел на качели – отправили в тир.
Где не было выигравших и проигравших,
А только лишь выжившие и невставшие.

У *младшего* сердце такое большое,
Что в нём помещаются *первые двое*.
И было так много в серьёзном молчании,
Того, как *он* любит по умолчанию.
Пусть в сердце у *младшего* будет покой,
Пока *он* рисует закат над рекой
И медленно водит коня по квадратам,
Взяв нежность *сестры* и уверенность *брата*.

А мир продолжает сходиться с ума,
Люди продолжают терять дома,
Люди продолжают терять людей,
Я продолжаю хотеть к тебе.

* * *

Я – верба,
Я – бабушка в розовой куртке.
И мне двадцать семь,
Или семьдесят два – через сутки.
Себя продаю
И себя у себя покупаю.

А вербочки Блока баюкают радость в Раю,
И мне никогда не добраться до этого Рая.

Меня не поймали, и я заблудилась во ржи,
И я опустилась туманом на мартовский город.
А если б поймали бы – стала б супругой раджи,
И пахла бы строками Рабиндраната Тагора.

Но я убежала, бежала, чтоб пахнуть попсой,
И это не то чтобы что-то обидное, кстати,
Любая попса от меня отдавала самсой,
Самсой у Колхозного рынка в глубинах Тольятти.

Любая попса от меня отдаёт молоком,
И запахом хлева, и запахом маминой мамы.
И верой, что смерть – это то, что всегда далеко,
И в то, что любая комедия вышла когда-то из драмы.

Я – верба, я – трактор, я – пропасть у ржи,
Я пахну московской маршруткой.
И чтобы меня не поймали на лжи,
Я – бабушка в розовой куртке.

* * *

Лапка света высовывается из ловушки тьмы.
В кровати ребёнок.
Ребёнка родили мы.
Над ребёнком тихо нагревается лам-
Па.
А он тянет ручки и повторяет: Па.
Па – это ты, ты сильный и широкоплечий,
Такой же спокойный, как тёплый июльский вечер.
Губки ребёнка бабочкой улетают в ма,
И я застываю как то, что она в азбуке мыла. Ра-
Ма.
Ма – это я. И я звеню браслетами,
Звучу сразу всеми писателями и поэтами.

Я никогда раньше не пела колыбельные,
И никогда не носила крестики. Нательные.
А играла только в крестики-нолики. Дама крести,
Я играла в морской бой. Мы играли вместе.
Доигрались до ранена
И убит.
Мы ведь знали заранее
Без обид.
Мы играли без счёта
И без потерь.
Так какого чёрта?
Так что теперь?

А теперь лапка света высовывается из ловушки тьмы.
В кровати ребёнок.
Ребёнка родили мы.
У него твои глаза
И смешные пятки.

И любовь, как весёлая стрекоза,
Превращается в фейерверк над его кроватью.

* * *

Эй, девочка, ты помнишь детский сад?
Картонной кукле склеивали ногу.
Эй, девочка? А где сейчас твой брат?
В Германии? Ну что же, Слава Богу.
Эй, мальчик, мы ходили на каток,
Теперь уже не прыгаешь каскады?
Ты где? Ах, ты уехал на Восток.
Ну что же, так, возможно, было надо.
Мне кажется, мне всех их не найти,
Мы выросли и все пошли куда-то:
В бордели, либералы и айти,
Но кто тогда из нас пошёл в солдаты?
Не мне судить, что у кого болит.
Ведь белое пальто в грозу подводит.
Но, может, перестанем делать вид,
Как будто ничего не происходит?
И что нам отвечать через года,
Ведь наши дети спросят нас когда-то:
«Но, мама, что ты делала тогда?»
И я скажу: «Пила холодный латте».

Александр
БЕЛЫХ

СТИХИ

ДИАГНОЗ

Рифмы глупые,
вы – как бубенцы на колпаке дурачка.
Я не повзрослею, а только состарюсь...

* * *

Ем хлеб.
Дышу воздухом.
Что может быть легче слова?

* * *

Щи хлебаю лаптем.
Лыком штопаю стихи.
Кусаю чужие локти.

НАИТИЕ

Засыпает мой сад,
как дитя, в моих руках,
баюкаю его.

Одной вьюжной стаей
пронёс в моей памяти ветер
все события разом.

Молчание,
соприкоснувшись с Богом,
отхлынуло речью.

На рассвете, слышу,
Как всхлипнул ребёнок чужой –
Душа моя...

* * *

Живу словом.
Чту память предков.
Дышу русским духом.

* * *

У мысли нет звука...
Кто развеял слова,
Дал имена цветам?

• **Александр Белых** – поэт, прозаик, переводчик. Окончил Дальневосточный госуниверситет. Работал в Японии, учился в университете Колонизации Восточных Земель Китая в Токио. Публиковал переводы японской прозы и классической японской поэзии.

* * *

Унесу с собой под землю
Томик ненаписанных стихов
О том, что синее небо приемлю
И ветер зелёных холмов.

Пусть качается лодка в могиле,
Игривые волны хлебают.
Всё, что любил, останется в силе
И от забвенья слово избавит.

ИСИКАВА ТОКУБОКУ

Голые мокрые деревья,
Облако, похожее на печаль,
Антикварный томик со стихами
Исикава Токубоку притулился
На подоконнике английской кофейни.

АБЭ КОБО

О сад,
садик мой,
какой же ты махонький!
Изо дня в день
скудная улыбка на устах –
глядеть на тебя –
ах,
проваливаться
в эти рывины отчаяния,
заживо зарываться!
Ах, какая судьбинушка
У нас, у поэтов!
От одиночества
скудного
до тленного существования
блуждать да маяться,
туда-сюда бродить по кругу.
Из тёмной глубины
На белый свет выныривать,
наружу –
опять всё то же житьё
у нас, у поэтов.
А плата за это зрелище
жалостное –
шепоток безобидный из уст в уста
о феноменах да явлениях всяческих...

А когда на изменчивых стезях
в нас воплощаются безмерные беды,
эти маленькие словеса, эти словечки
упадают в рытвины,
и разве тогда
огромного существования пустоты
не переполняют нас,
не достигают цели?
И тем паче, двоим,
что величаются поэтами,
когда они ведут свои сказания
и тихие сумраки в их телах,
окутанных сновидениями,
сгущаются в капли звёзд
в безграничных просторах
ночного неба,
им бы зарыться
в обоих полушариях земли.
Водружать внутри себя то,
что было зримо снаружи,
проливать в скорбный кубок,
что из крови и плоти,
сияние радости и отправляться
в странствие вечной жизни,
разве не такая судьба
у нас, у поэтов?

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Наготой белёсой
Пылают хладные росы
В увядающих розах.

Сад увлажнённый тлеет,
Слова лучистых звёзд тревожат
Эпидерму бледных ног.

Голубеют призрачные тени.
Здесь в шевиотовых брюках
Гуляет денди Валерий Брюсов.

Затянув поясок,
Пробежался наскоро
Ветер наискосок.

На вокзале пусто,
В буфете тускло,
Билеты дорожают.

* * *

Жмётся к берегу перелесок,
чёрный ворон урчит сварливо.
Ветер – то нежен, то резок,
треплет игривой волны загривок.

Грешным цветом пусть зарастают
тропинки у синего-синего взморья,
где камни о чём-то молча мечтают
и, как тюлени, лежат беспризорно.

Хочу, чтобы здесь меня забыли,
развевали прах над вечностью,
чтобы стать остывающей звёздной пылью
или туманом над Рекою Млечной.

* * *

...Иду по Невскому,
по солнечной стороне.
Люди улыбаются мне.
Азиатские лица и речи
толкают весенний гул.
Подбегает девушка одна.
– Вы помните меня? –
спрашивает наповал.
– Конечно, помню, как же,
я вас рисовал во сне, и в Лофте
на Лиговском проспекте! –
улыбаюсь незнакомке я.
Александр Блок на углу
весело насвистывает нам
на глиняной свистульке.

* * *

Лучик солнечный липнет к листе молодой,
не желает расстаться с ней, треплет ветки,
и брызжет голубыми огнями, как электросварщик.
Я – сгусток света, который стал веществом,
в ком дух остывает, обжигает окалиной
апрельского утра. Я – просто солнце
на твоей подушке пятном, в твоих спящих ладонях:
я всегда буду с тобой, в твоих веснушках,
на ресницах робких, что слипаются спросонья
и держат сновиденья нити из солнечной пряжи.

СВЕТ

Как осторожен твой шаг, не отважен, робок...
Ветер увязался вслед за мной, щенком,
солнечный луч ощупывает палую листву в городском парке:
нет, не жмурюсь я –
просто трогаю свет руками, целую...

* * *

Пахнет срубленным лесом,
боль внезапная и резкая...
У деревьев раненых сияют белесо
струпя льда на свежих срезах,
истекающих влагой весенней...

НАБЕРЕЖНАЯ АМУРСКОГО ЗАЛИВА

Берег родины далёк.
Один, отстал от стаи ли?..
Лапки греет под крылом,
Прячет голову от глазующих
Чёрный лебедь из Австралии...

* * *

Бархатцами огнеликими,
Что на клумбе прибирала,
Благоухают руки твои –
Дай надышаться, пожалуйста,
Не смывай аромат любви!

РЕПОРТАЖ О ПОГОДЕ

После двух дней январской оттепели,
Когда проснулись в лесу мухи и пауки,
Запели ариозо синички и ариетту дятлы,
И у снежных баб оттаяли сердца,
Зарделись щёки, как у купчих Кустодиева,
Снова грянули морозы и ледяные ветра.

ПИОН

Благоухая, пион махровый
Упал под тяжестью росы
В заброшенном саду,
Уткнулся в землю, задыхаясь,
Навзрыд рыдая, садовником забытый.



Наталья ЗАХАРЦЕВА (Резная Свирель)

СТИХИ

ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Один мой знакомый, играющий на гитаре, частенько на полном серьёзе мне говорил,
что радость – она окрыляет, тревоги старят,
а музыка – то, что живёт глубоко внутри.
С начала рождений, с курсора и с абсолюта, на дне, в облаках и на звёздной горе костей,
из музыки выросли боги, цветы и люди.
И не было в мире прекраснее тех людей,
таких настоящих, весёлых и непокорных.
И взгляды их были остры, как подводный риф.
Так мне говорил человек, в чьей душе – аккорды, канаты нейлоновых струн, деревянный гриф.

А как его звали? Наверное, как-то звали.
Я помню, что он обожал очень крепкий чай без сахара, чёрный. Смеялся, что inferнальный,
боялся обидеть кого-нибудь сгоряча.
С такими надёжно остывшим тревожным утром, с такими нестрашно запрыгнуть в пустой вагон.
Есть люди, которые блюз, и они уютны.
Есть люди, которые джаз, и они огонь.
Есть люди-симфонии, оперы, люди-кантри.
Так он говорил, примеряя себя к ладам.
А кем же он был? Да, по-моему, музыкантом, хотя разве это профессия?
Это дар,
учение, исповедь, что-то ещё такое, чего я не зная, не ведая, берегу.
Деревья под снегом поют, фонари и кони, но их иногда заглушает машинный гул.

Один мой знакомый уехал к морям и пальмам – есть сладкие финики, тёмный инжир и нут.
Лежу, закрывая глаза, тишиной слепая,
хватаюсь за небо и верую в тишину,
плывучая, простоволосая как дриада.

• **Наталья Захарцева** – поэт-сказочник из Самары. Пишет под псевдонимом Резная Свирель.

Храни же меня, сохрани же в любых мирах.
Один мой приятель – косуха и медиатор – сквозь все расстояния велит
мне не умирать.
А где он теперь?
Он при храме ли, при ашраме, в портовой таверне, в блестящем цветном
бистро?
От времени, он говорил, заживают шрамы –
и снежная птица роняет в ладонь перо.
Живи – я живу и учусь быть светлей и проще, из слов безуспешно ваяю
доспех и щит.
Но слышу, как он пересёк городскую площадь,
и каждый вмурованный камень в меня звучит.

ГОВОРИЛИ ЕМУ

Говорили ему – не ходи туда, не дыши. Там соломенный ветер, зачахшие
камышы, серо-бурая тина, хвостатая мелюзга. Там осока лихая и
страшная лнёт к ногам. Там лягушек раззявленный рёв, комаров каскад,
и утопцы гнилые ведут и ведут рассказ. Голоса как услышишь – запряться
под лопушок. А чего дураку хорониться. Дурак пошёл. Дураки ведь – они
дураки и сейчас, и встарь.

Говорили – добычу-де ловит болотный царь. Ковыряет в зубах, и совсем
никого кругом. Станешь серой плотвичкой, ныряющим поплавком.
Извиваться начнёшь, как на остром крючке мотыль. Говорили ему, а его
уже след простыл.

Умоляли же, ну – не твоё это, не твоё.

Примостился на кочке, болоту сидит-поёт.

– До чего же прекрасно лягушки твои трубят, а какие кувшинки красивые
у тебя. Я бы тут поселился и жизнь бы с тобой связал.

Обернулась вода синевой дураку в глаза.

Говорили ему – не ходи в бурелом, не смей. Там голодные волки,
полно ядовитых змей. Там огромный медведь, девки бают, что людоед.
Земляники кровавая тьма, а души там нет. Филин ухаёт ночью, кричит
вороньё беду. Огоньки над землёй – завлекут тебя, заведут. Чтоб не
видеть проклятых – залезь целиком в мешок. А дурак – он рубаху
как латы, и вновь пошёл. Дураки ведь – они дураки и тогда, и впредь.
Говорили – по лесу гулять обожает смерть. У неё есть корзинка, в
корзинке лежат сердца. Зинчик-зинчик, присядь на мизинчик, уважь
творца.

Станешь хрустнувшим крылышком, кукольной головой. Говорили ему – а
ему хоть кричи, хоть вой.

Вон стоит на горе, обнимает столетний дуб.

– Наконец-то нашёл, уже думал, что не найду. Как силён, как шершава
кора, не сочти за лесть.

Я остался бы здесь, если примешь меня, мой лес, если сдался чудесным
краям ненормальный тип.

Идёт дальше дурак и стрекочет, и шелестит.

Говорили ему – а на небо тебе никак. Там, на небе, один демиург отлежал бока. Отлежал облака, чуешь, дождь зарядил теперь. И прострел в поянице как молния, верь-не-верь. А придёт кто к нему да и спросит, мол, чем богат, он без всяких чаёв и пиров отправляет в ад. Не по злобе, конечно, веками заведено. Если знаешь, что скоро гроза – закрывай окно. Лечат, лечат придурков, не вылечат до поры.

Улыбнулся дурак и пошире окно открыл, только пальцем худым по стеклу отбивает ритм. Говорили ему, а он сам уже говорит, прерываясь на смех, и смешинки его из льна.

И наполнился небом дурак от ушей до дна, и наполнился богом от маковки от плеча.

Люди ходят к нему и молчат ему, и молчат.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС

Чем дальше в лес – тем очевидней то, что в городе почти непостижимо. Заложник плодотворного режима (в подустаревшем драповом пальто), вдыхая долгожданный кислород, готов простить изменчивость погоде, найти избу, расшаркаться при входе за весь честной несказочный народ. Вот банника уже толкают в бок, вот сивки ржут, вот мост ещё калинов. И где-то между прочих нафталинов находится потерянный клубок – бродяга героической судьбы.

Завистливо вздыхает половица. Лес отмечает каждого сновидца: вы ясени, вы клёны, вы дубы. Кошачья мята, серебристый мох, ночная стража, солнечные нити. Возможно, ошибаюсь – извините. Увы и ах, точней – увы и ох. Колдунья посвящает в ремесло курносую русалку или мавку. Ворча, на ветер делает поправку и с толкача заводит помело (кто пробовал – тот, в принципе, поймёт). Вот лешие, соперничая в позах, сперва на посошок, потом за посох пьют контрабандный вересковый мёд.

И рябь, и темнота, и звук дождя. Всё в полном соответствии мотиву. Но человек теряет перспективу, себя в пустой квартире находя. Среди привычных взгляду мелочей глядит в окно, пытаясь не заплакать, а там Пузырь, Соломинка и Лапоть в ближайший лес бегут через ручей.

ПЕРИФЕРИЯ

Периферия, глушь, et cetera, привычный к тикю циферблат. Вокруг ни пуделя, ни сеттера – сплошной размеренный уклад. Крик постояльца верен комнате за неимением лица. Вы никогда меня не вспомните как вдохновенного творца. Его вы даже не заметили. Здесь мрачно, холодно, снега. Лениво крутится на вертеле баранья жирная нога.

По росту выстроились слоники, но взгляд – иллюзию спустя –
ведёт бессмысленные хроники обыкновенного гвоздя.

Мы с ним похожи, тем не менее мы идентичны не вполне:
я – человек в недоумении, он – замешательство в стене.
Согласно новым обстоятельствам с железом чувствую родство.
Мне представляется предательством повесить что-то на него.
Камзол, сюртук, с моей-то рожей ли?
Великий замысел таков: волхвы бездарны, куклы ожили,
кулисы проданы с торгов.
Кассир уплыл вечерним катером, строчит прошения в профком.
Я умягчился бы характером, но перебои с табаком:
то контрсанкции, то паника, то вниз, то вправо, то назад.
Грызги гранит, учи ботанику, переходи на самосад.

Кисель небес, дороги кашица, куда ни сунься – блюдо дня.
Подозревается и кажется: гвоздь провоцирует меня,
он будто знает про беду мою, смешной ржавеющий чудак.
Допустим, что-нибудь придумаю, возможно, завтра будет так:
ребёнок старого шарманщика (несостоявшийся актёр), изобличив во мне
обманщика, достанет с полки гвоздодёр,
устало спросит: «И который же? Четыре сольдо, всё под ключ».

Но в оперетте ищут сторожа, но по стене гуляет луч.

ВАН ГОГ

А лето начинается с нуля. Отряды одуванчиков-цыплят торчат как
карандашные огрызки.
А вон лежит Ван Гог и видит сон, как катится по небу колесо,
разбрасывая солнечные брызги,
разбрызгивая золотистый смех. И самое прекрасное из всех останется
цветами на картине.
Когда-нибудь (хвала, исусий дух) умеющие славу воздадут бульварам во
французской палестине.

А вон Ван Гог. И говорит Ван Гог: в субботу пляшет в кабаре Марго, на
улице клошары, неказисты, озябло греют руки у костра.
Пришли мне, что ли, денег, Тео, брат, на живопись, на краски и на кисти.
Ведь самое прекрасное не то, что сразу выставляется на торг, а вечер,
трубка, разговор, подсолнух.
Я должен мир таким запечатлеть: Прованс, и монастырь, и ветра плеть, и
дождь, что полю не даёт просохнуть.

Зябь ирисов, лиловая в закат. Как тянутся друг к другу облака, воронами
цепляясь и руками.
А вон Ван Гог идёт в себя стрелять.

Путь сердца начинается с нуля, пульсируя кровавыми мазками, следами
рванухого кота, в котором и любовь, и темнота.

И капли – они быстрые как лисы.

В цвет праздника окрашена трава.

И машинист скомандует: «Давай, сегодня там художник застрелился.

Хороший? Гениальный? Не вопрос».

Вдаль полетит господний паровоз, точнее, поезд, пассажирский поезд,
подкинув в топку ветра и угля.

И бесконечность – два срослись нуля, длиной в века, в космическую
повесть.

Кого б ни подбирать проводнику – все сядут рядом и нальют чайку.

Всплывут кругами жёлтые лимоны.

Багаж? Простите, невесомый груз.

Я неизменно к солнцу повернусь и разгляжу последние вагоны.

А вечность начинается с пути.

Как здорово, что есть куда идти, и с кем идти по звёздам пятипалым.

А вон лежит Ван Гог и слышит сон – под ним не умолкает колесо. И
рельсы-рельсы-рельсы. Шпалы-шпалы.

КОГДА

И когда от весны наконец остаётся май, и до жаркого лета буквально
подать рукой, все помехи свои, все доспехи свои снимай. Начинайся
крылатой, несбыточной. Будь другой: легче облака, тише молчания,
выше лжи. Не возвышенный слог – высший свет у тебя внутри. Тьма
сбежала на жутко далёкие рубежи караулить ещё нерождённые фонари.
Там фонарщики сами появятся, не беда. У Вселенной Фонарщиков
больше занятий нет, только делать из хаоса звёздные города, находить
незнакомцев, упавших с иных планет. Ибо что есть душа как не сгусток
сплошной любви, золотая струна, по которой проходит дрожь пальцев
старого Бога, хоть кем ты его зови. Он поставит ограду над пропастью,
скосит рожь и отправится снова гулять по чужим делам в современном
районе, массиве каком жилком. И нахмуренный дворник помашет ему –
салам. И смеющийся плотник окликнет его – шалом, и растерянный я
удивлюсь – ну чего, привет. Вот так встреча. Мне даже не верится. Точно
ты? Может, если случилась оказия, дашь совет?

Бог почешет затылок и скажет: смотри – цветы. Одуванчики вылезли.

Лето уже почти. Солнце суть инструмент для латаний любых прорех.

Между прочим, отличную вещь написал. Прочти. Вдруг понравится.

Ангелам некогда, как на грех. В стороне от сует обостряется абсолют,
проявляется истина, тонкая грань её.

А потом самолётик бумажный за ним пришлют. И пока он летит, я

подумаю: смерть – враньё. И пока в занебесных чертогах наводят лоск,

разреши себе чудо, ложись на краю весны слушать дивные песенки

Матушки Ветровоск, помнишь славные сказочки Матушки Бузины.



Сергей
СУЩАНСКИЙ

БАБА МАНЯ

Рассказ

Когда-то давным-давно, когда Петьки ещё не было на свете, а сестре только-только исполнилось два года, Иван Макарович купил полдома в древнем городе Измаиле на углу Телеграфной и Татарбунарской улиц. Дом был старый, ещё дореволюционной постройки, под черепичной крышей. В квартире с печным отоплением было три комнаты, кухня и коридор. А все удобства – туалет и водопровод – во дворе.

Почему отец уцепился за частную собственность? Да все так в городе жили после войны! И сам город был сплошь одноэтажным, а вокруг каждого домика имелся двор с садом-огородом и надворными постройками. Почти в каждом дворе были подвалы, а уж они-то могли быть просто гигантскими, как лабиринт Минотавра, простирались на многие сотни метров и под строениями, и под тротуарами, и под проезжей частью улиц.

В центре города возвышалось несколько двухэтажных домов старой, тоже дореволюционной постройки. В одном располагался горком партии, в другом – всё лучшее детям! – Дворец пионеров. Поговаривали, что раньше в школе, куда родители определили Петьку, располагался госпиталь, в котором лечили офицеров румынской армии, раненных на Восточном фронте.

Соседкой Петькиного семейства была баба Маня. Некогда она владела всем домом, но в сорок четвёртом Красная армия выбила войска Антонеску из городка, бабке пришлось столкнуться с советской властью. Содержать строение сил и средств уже не было, вот часть и пришлось продать. Сколько бабе Мане было лет, Петька не знал. Да это было не важно, и его особо не заботило. Жила она одиноко – ни мужа, ни детей. Правда, изредка появлялась племянница, Нинка Куртева. Но, пожив у бабы день-другой, Нинка опять куда-то надолго исчезала.

• **Сергей Сущанский** – поэт, прозаик, член Союза писателей России (2013). Стихи, рассказы и документальные очерки публиковались в журналах «Колымские просторы», «Дальний Восток», «Бийский вестник», «Мир Севера». Лауреат литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу (2016), национальной премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2020). Живёт в Магадане.

Возле дома имелся небольшой дворик, перегороженный забором на части. В углу бабы-Маниной части двора стоял дощатый сарай, в котором соседка хранила пустые консервные банки и бутылки, запас угля, дров и керосина, а летом использовала его как кухню. Возле сарая росло развесистое абрикосовое дерево. Такие же деревья, только поменьше, имелись и на Петькиной половине двора, но Петька выжидал момент, когда соседка отлучится из дома, забирался на крышу сарая и обрывал ещё незрелые плоды.

Если баба Маня засекала Петьку на дереве или на крыше сарая, то непременно жаловалась его родителям. Наказание в таких случаях наступало мгновенно, особенно, если отец приходил домой, отдавая на базаре стаканчик-другой колхозного винца...

Позже, когда абрикосы созревали, баба Маня раскладывала на крыше на противнях и фанерных листах разломленные пополам плоды – заготовки на зиму. Местные жители называли их «сушками». Петька и от сушек не отказывался – тут же на крыше уплетал их за обе щёки.

Ещё во дворе у бабы Мани росли два куста винограда, что было для Петра дополнительным соблазном и стимулом шариться по соседскому саду-огороду. Странно, конечно, ведь в Петькином дворе тоже имелось несколько кустов винограда. Ешь не хочу! Но ведь за забором-то наверняка вкусней!

Зимой поводов для конфликтов вроде бы не было. Ну не снег же воровать у соседки, на самом-то деле!

Но однажды, перед очередным Новым годом, Иван Макарович принёс Петьке с работы на зимние каникулы воздушку – духовое ружьё – и целую пачку пулек. Ну, это поначалу казалось, что пулек много! Их количество таяло, как говорится, не по дням, и даже не по часам, а по минутам. Потому как стрелял Петька куда глаза глядели: в белый свет, как в копеечку – только перезаряжать успевай! Видел дерево – стрелял в дерево, воробей на ветке – тоже цель, забор – так и в забор! Стрелял в лампочки, которыми освещались улицы, навлекая на свою голову проклятия жителей городка.

В доме стрелять пулями было невозможно – свинец крошил мебель и оставлял глубокие следы на стенах. Но руки чесались, и Петька удумал стрелять жёваной бумагой по ёлочным игрушкам – ёлка стояла, как и у всех знакомых пацанов, до старого Нового года. Стен такие снаряды не портили, а стеклянные игрушки лопались, осколки брызгали во все стороны. И Петька с радостными возгласами и воодушевлением перезаряжал воздушку, продолжал стрелять, заметно сокращая количество украшений на ёлке.

«Новый год, Новый год! Лихо пляшет весь народ!». Петька прекрасно понимал, что новогодние праздники – это самое лучшее время года, даже лучше лета! И не потому, что накатили каникулы и нет нужды ходить в школу. Новый год – это подарки, это много-много конфет, печенья и прочих сладостей, а также мандаринов и апельсинов!

Мама делала торт, который почему-то называла «Наполеон», готовила пироги, именуемые «пациндой»: в тесте запекалась тёртая тыква. Вкуснятина – пальчики оближешь! Особенно если с пылу с жару – прямо из духовки!

Отец заранее покупал на базаре ёлку, стараясь выбрать поразвесистее да попушистее. Ёлки пахли настоящим лесом. Петька доставал из нижнего отделения буфета ёлочные игрушки и электрические лампочки. Под ёлкой ставили ватного Деда Мороза и Снегурочку. Кроме обычных новогодних украшений – стеклянных и картонных, они с сестрой развешивали на ёлке завернутые в фольгу грецкие орехи и конфеты. Это был стратегический запас: когда все вкусоности в доме исчезали, дети потихоньку съедали «ёлочные украшения».

...Сразу после новогоднего праздника, в первых числах января, три дня шёл снег. Этот снег – совершенно лишнее явление для взрослых, но, к сожалению, от них не зависящее. Зато какая радость ребятам!

Весь двор и дом до середины окон был завален снегом. Отец прорыл в сугробах тропинки – к калитке, к уборной, к сараю с дровами и углем – и ушёл на работу. А Петька, расчищая двор, вырыл в куче снега под абрикосовым деревом настоящую пещеру. Сидеть на снегу было зябко, и он притащил несколько досок из сарая и устроил в пещере сидушку. Выклянчил у матери свечу и незаметно унёс с кухни спички. В общем, получилась довольно сносная снежная «халабудда», как обозвал отец получившееся сооружение. Рядом с халабуддой Петька с сестрой скатали снежную бабу, хотя ей, конечно, Петькины развлечения были совершенно не интересны.

Как-то раз, играя во дворе и затаившись в сугробе, как партизан в засаде, Петька начал палить из воздушки по сосулькам, свисавшим с крыши дома. Они были разные, но некоторые, особенно длинные, заслоняли фрамугу кухонного окна, и в азарте Петька не заметил, как одна пулька влетела в оконное стекло. На части оно не разлетелось лишь потому, что изнутри было затянуто льдом.

Перебив все сосульки под своей частью крыши, Петька перенёс огонь на территорию соседки. И надо ж такому случиться, что баба Маня как раз в это время, буквально в эту секунду, выходила из квартиры во двор. Петька выстрелил и сбил сосульку, а та шлёпнулась прямо бабе Мане на голову! Хорошо ещё, у тётки на голове поверх толстого шерстяного платка был надет какой-то капелюх, а то бы...

– Ах ты, босяк, ас тас, босяк! – не своим голосом заорала баба Маня. – Ну, погоди, я отцу твоему всё расскажу!

«Вот так всегда, чуть что – отцу расскажу!» – с тоской подумал Петька.

Баба Маня была по национальности то ли албанкой, то ли болгаркой, русский знала не ахти как, потому могла сказать и так: «Идэ тут моя бутилочка сыдела?» Или: «Нино! (Нино – это бабкина племянница, Нинка Куртева.) Постав карыту на гвиздок!». А своё: «Няма сичку дигуляма!» баба Маня повторяла как припев к песням собственного сочинения. Многие бабкины слова Петруха просто не понимал. И что такое «ас тас» – тоже не понял. Но прекрасно понял, что бабка-таки расскажет отцу, добавив от себя несуществующие подробности, а тот... В общем, всё так и произошло...

– Иван Макарыч! А ваш Петя... – закудахтала баба Маня, едва Петькин отец появился во дворе. Специально поджидала, что ли?

– Что опять? – зарычал батя.

– Да, вот, убивец, стреляв – чуть меня не убив! – Баба Маня приврала, но уж больно ей хотелось, чтобы отец отодрал Петьку!

И на радость соседке отец, скорый на расправу, устроил Петьке взбучку. Петрухе всегда казалось, что бабка в предвкушении Петькиной порки от радости потирает руки. Поэтому желание делать соседке гадости у него не исчезало никогда.

На следующий день Иван Макарович отвёз воздушку на работу...

А тут случилась оттепель, ледяная корка на стекле растаяла, и из кухонной фрамуги посыпались осколки. И у отца, подходившего к двери дома, под ногами захрустело битое стекло.

– Ну-ка, поди сюда! – рявкнул отец, входя в дом.

Не успел Петька подойти, как отец схватил его за ухо и поволок во двор. Ухо запылало, как огонь в печи, которую каждое утро растапливал отец. От боли из глаз потекли слёзы.

– Это что такое?

Следом выскочила мать:

– Иван, ребёнка простудишь!

В раннем детстве Петька особым здоровьем не отличался. Частенько даже в разгар лета мог свалиться с высокой температурой. И пойдя первый раз в первый класс, проучился ровно один день. Второго сентября слёг с жестокой простудой и провалялся дома две недели. Отец всё это прекрасно знал, а потому в этот раз матери удалось отвести грозу от Петьки. Но Иван Макарович ещё долго злился и чертыхался, вспоминая злополучное духовое ружьё.

А Петька, потирая выкрученное отцом ухо, затаил злобу на соседку. И однажды весной, на Пасху, когда народ в городе гулял всю ночь, он перебил из рогатки половину стекол в соседкиных окнах. Полураздетая бабка бегала по улице возле дома и визгливо ругалась на чём свет стоит на своём смешанном русско-албанско-болгарском языке. В том, что произошло, она, естественно, винила Петра. Но мать всё поняла и заявила, что Петька как раз лежал дома в кровати с высокой температурой. Пронесло и на этот раз!

...Летом баба Маня торговала на углу дома жареными семечками: маленький стакан стоил пять копеек, большой гранёный – десять. Окрестные пацаны пытались купить семечек, всучив бабке старые дореформенные монеты. Они хоть и отличались от новых, выпущенных в 1961 году, но всё же были очень похожи. Иногда обман удавался, иногда – нет. Но если бабка замечала подлог, она ругала мальчишек на своём коверканном языке.

Приносила ли эта торговля хоть какой-то доход? Может быть, может быть... Но скорее всего, бабка делала это ради удовольствия, потому как возле неё всегда усаживались товарки – такие же древние старухи, как и она сама. На своём непонятном языке они неспешно о чём-то толковали – то ли вспоминали прошлое, то ли гадали о будущем...

Баба Маня жарила семечки в летней кухоньке на примусе, а Петька через щель в заборе следил за её действиями и хождениями по двору, и как только бабка выходила за калитку и удалялась на приличное расстояние от дома, перелетал через забор, набивал карманы ещё горячими семечками и так же мгновенно испарялся. Но бабка, заподозрив неладное, уходя, стала запирает дверь на навесной замок.

С памятью у соседки уже было не всё в порядке. Однажды, закрыв сарай и тщательно проверив замок, баба Маня забыла запереть входную дверь в квартиру. Молниеносно перескочив забор, Петька юркнул в незапертую дверь и по коридору прокрался в бабкину комнату. У окна стояла кровать, накрытая домотканым покрывалом: бабка была рукастая и много чего в доме делала сама. Над кроватью в углу висела икона Христа в золотом окладе. Пошарив под подушкой, он нашёл там узелок с мелочью. Взглянув на икону, Петька на секунду засомневался в правильности своих действий – уж очень укоризненно Спаситель взирал на Петькины деяния. Но угрызения совести длились недолго: он сунул узелок в карман и был таков. Тряпочку Петька выбросил в уборную, а мелочь – в узелке оказалось чуть больше рубля новых, послереформенных копеек – засунул в тайник на крыше. Там он и сигареты хранил – год назад Петька начал баловаться сигаретами и уже считал себя заядлым курильщиком.

Придя домой и обнаружив пропажу, бабка подняла жуткий визг:

– Обокрали, ироды! До копейки обчистили! Все деньги унесли!

На этот раз Петька отделался лёгким испугом: бабка и представить себе не могла, что это Петькиных рук дело, и что сын известных в городе учителей – мелкий воришка!

...«Боевые» действия между Петькой и Петькиной соседкой прекратились самым неожиданным образом: в один промозглый осенний день с дождём и ветром, когда из дома неохота даже носа высунуть, баба Маня умерла... И Петька, несмотря на всю свою детскую неприязнь к бабе Мане, вдруг ощутил какую-то пустоту в душе, как будто потерял близкого человека.

Прости, Господи, Петьке все его прегрешения!



Наталья
КУЧЕР

СТИХИ

* * *

Моя Вселенная во Мне,
И каждый миг пропитан Счастьем.
Лишь мелкой галькою на дне
Лежат опавшие ненастья.
Саднит, куда ни прикоснись,
Любовью вспоротая кожа:
Так сквозь меня сочится Жизнь.
Душа в оковах плыть не может.
Молю не стихнуть эту боль:
Пусть кровь кипит, не остывая.
Вселенная моя, позволь
Понять, что я ещё Живая...

* * *

Я вновь любви довериться хочу,
Пока не стихло эхо восхищенья,
Пока черту земного воплощенья
Невидимую не перелечу.

Пока, подняв прозрачные крыла,
Я снова в сумрак сна не улетела,
Яви мне всё, чего я не успела,
И дай всё то, чего я не смогла.

Безжизненное тело разбуди
Желания рассветными лучами,
Что растворяют пустоту ночами
И эту боль, живущую в груди.

Я не прошу – я требую любви!
Любови. Безусловной, бесконечной.
Я шаг за шагом расправляю плечи
И следую за солнышком: лови!

• **Наталья Кучер** – поэт, автор-исполнитель. Лауреат фестиваля им. В. Грушина (2002), постоянный член Большого жюри фестиваля им. В. Грушина с 2003 года. Лауреат художественной премии «Петрополь» (2018). Художественный руководитель Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «ВитаЛики» (г. Зеленоградск). Живёт в Москве.

ВОЛЧИЦА

То ли это крик, то ли это стон,
То ли волка вой одинокого.
Может, это явь, может, это сон –
Вроде бродит он где-то около.
Я иду за ним по его тропе,
За его бедой по его пятам.
Только места нет мне в его судьбе:
Неужели я Богом проклята?

На свою беду за тобой бреду –
Разбросала страх пеплом по ветру.
Я сама с собой разговор веду,
Потому что некем быть понятой.
Я к ногам твоим брошу свой покой,
Лишь бы ты меня целовал опять.
Я теперь пойду всюду за тобой –
Я твоею волчицей готова стать.

Горькая судьба чьей-то злой рукой
Разбросала нас на две стороны.
Я к тебе иду за твоей бедой –
Мы её делить станем поровну.
Ночью не сомкну я усталых глаз –
Буду сохранять твой ночной покой,
Чтоб любовь никто не украл у нас,
Чтобы я брела вечно за тобой.

ОСЕНЬ

Осень вновь разбросала листвою
По тропинкам свои акварели.
И кистями продрогших рябиновых слёз
Догорают костры сентября.
Душу вновь заполняют собой
Заунывного ветра свирели.
К небу рвутся нагие ладони берёз,
Но у каждого осень своя.

Пусто в доме моём на втором этаже.
Ставлю чайник на газ раз пятнадцать уже.
Ведь в моей, без тебя опустевшей душе
Вновь наступила осень.
Я всё реже твержу, что к тебе не вернусь.
По квартире брожу, за уборку берусь.
Чай вскипел и остыл раз пятнадцать уже –
Жду тебя на втором этаже.

Беспризорный кленовый листок
Оживёт на широкой ладони...
Уронив хитреца меж газетных листов,
Ты спасаешь его от огня.
Здесь не надо читать между строк,
Только глупый, наверно, не понял,
Что своим озорным рыжеватым хвостом
Он напомнил тебе про меня.

Знаю, счастье моё на пороге уже,
Нажимает звонок на втором этаже,
Ведь в моей, без тебя опустевшей душе
Вновь наступила осень.
Друг у друга не станем прощенья просить.
Что слова? Знаешь сам, нелегко выносить
Пустоту, что сквозит в одинокой душе
Без любви на любом этаже.

БЕЛЫЕ КРУЖЕВА

Белые кружева волны у ног качали,
Лёгкие облака день за собой несли.
Этот прибой – шаги светлой моей печали,
Эта скала – порог странной такой любви.
День заслонит собой неба седая просинь,
Птицей вспорхнет у ног сброшенная листва.
Рыжим костром души вновь полыхает осень.
Было бы что поджечь – в этом она права...

Видно, творец опять пряжу свою запутал,
В вечный клубок страстей нитку мою вплетал.
Пледом из слов твоих плечи мои он кутал,
Вёл меня за собой. Только бы не устал.
Сладкая боль моя, не исчезай, не надо.
Тёплой большой волны хватит нам на двоих.
Жажду моей любви не остановишь взглядом,
Не разорвешь кольца солнечных рук моих.

Белые кружева волны у ног качали,
Лёгкие облака день за собой несли.
Этот прибой – шаги светлой моей печали,
Эта скала – порог странной такой, вечной такой,
Доброй такой любви.



Дмитрий
АНИКИН

БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ. ЛИРА, А НЕ ФЛЕЙТА

Эссе

«Я учусь у всех – даже у Бенедикта Лившица», – якобы говорил Манделъштам. Во всяком случае, так вспоминала Надежда Яковлевна.

Есть такое любопытное место в мемуарах Ахматовой: «поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи». Это странно: Лившиц бесконечно далёк от Блока, и какие-то другие поэты могли ему мешать.

Жаль, что Лившица, такого умного, талантливого, образованного, никто не воспринимал всерьёз. Ни как поэта, ни как теоретика искусства. Только мемуары его пользовались успехом.

Лившиц признавался: «Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава». Может быть, поэтому ему так был интересен Давид Бурлюк – делатель поэтов.

Лившиц получил классическое образование. Гомер, Гораций и Овидий были для него родными голосами. Латинской музы небылицы тревожили сон отрока и вошли в плоть и кровь его поэзии.

Лившиц был русским классиком, одним из тех, кто святее папы Римского, кто знает и ценит европейское лучше любого европейца. У Достоевского были такие герои.

Великолепно образованный, всесторонне подготовленный к культуртрегерству, Лившиц решает сеять разумное, доброе, вечное на благо русского футуризма. Непаханое, немереное, дикое поле.

Миссия, которая может прославить делателя.

Печататься Лившиц начал в «Аполлоне», что было для него очень подходящим, но настоящей известности не принесло. Брюсов со сдержанной похвалой отозвался о первой книге Лившица, но кого только Брюсов не хвалил, рассчитывая завербовать в свою литературную армию.

• **Дмитрий Аникин** – коренной москвич. По образованию математик. Предприниматель. Публиковался во многих литературных изданиях. Автор трёх книг. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2024» в номинации «Очерк», вошёл в шорт-лист Международных поэтических конкурсов «MyPrize-2024» и «Мыслящий тростник».

К началу десятых годов Лившиц стал недоволен современной ему символистской поэзией, трактуя её как перепевы французского символизма. За некоторыми неважными внешними похожестями Лившиц не заметил коренных мировоззренческих различий и решил искать свой путь вне символизма.

Русская поэзия ещё с пушкинских времён привыкла наследовать французской, но всё это с такой потрясающей расхлябанностью и разнузданностью, что результат получался весьма оригинальный и глубоко национальный. Но по дурной интеллигентской привычке национальное ищут на каких-то дальних скифских полях, куда никакой ворон русских костей не нашивал...

Несчастливый случай свёл Лившица с Бурлюками. Братья Бурлюки с равным успехом пробовали себя в различных видах искусства, больше всего от них пострадала живопись. Давид Бурлюк мнил себя ещё и поэтом.

*Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Все что встретим на пути
Может в пищу нам идти.*

Единственные строчки Давида Бурлюка, запомненные русской литературой, были инспирированы стихами Рембо, которыми Лившиц неустанно мучил своих новых товарищей.

В отместку за истязания мировой культурой Давид Бурлюк написал портрет Лившица.

...Давид и меня подбил попытать силы на этом поприще и с явным любопытством ожидал результатов, но очень скоро и навсегда разочаровался в моих живописных талантах: я оказался чудовищно бездарен.

Дорого бы я дал, чтобы посмотреть на живопись Лившица. Что ж это надо было сотворить, что смогло показаться чудовищно бездарным по сравнению с творениями самих Бурлюков? Может, это новый Леонардо написал новую Джоконду?

Футуристы брали у Лившица сведения о мировой культуре, чтобы было что отрицать. Надо было хоть по именам знать, кого бросаешь с парохода современности.

Перефразируя знаменитую мандельштамовскую фразу, можно сказать: «Футиризм – это тоска от мировой культуры».

В Лившице всегда чувствовалась белая кость. От образования и воспитания так просто не отделаться.

«Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» – соблазнял Ставрогина Пётр Верховенский; Лившицу казалось, что парнасец, идущий в футуризм, тоже обаятелен.

Бурлюк призывал Лившица: «Стань нашим Маринетти», но Лившиц не спешил. Крещёный еврей, он хоть и тянулся за новым учением, но не мог целиком отри-

нуть многовековое наследие предков-талмудистов, привыкших совмещать в своих толкованиях мистический экстаз с беспощадной логикой. Противоречия футуризма Лившица раздражали, а самим футуристам были безразличны.

Дело Бейлиса разделило Россию на два лагеря. Лившиц вспоминал, как петербургская полиция запретила выступление футуристов, прочитав хлебниковское стихотворение «Бобэоби» и усмотрев в названии анаграмму имени Бейлиса.

В чём беда хлебниковских текстов, так это в том, что такое полицейское толкование ничем не лучше и не хуже любых других сколь угодно филологических или духовных.

Нищему и вору любой наряд впору.

Как ни примеривал Лившиц на свою поэзию футуристические наряды, а статья поэтом-футуристом ему было не суждено. Роль Лившица в футуризме – исследователь, наблюдатель, описывающий диких насекомых, энтомолог, этаким «кузен Бенедикт» из романа Жюль Верна.

Вот как описывал Лившиц свой опыт футуристического творчества:

...В левом верхнем углу картины – коричневый комод с выдвинутым ящиком, в котором роется склонённая женская фигура. Правее – жёлтый четырёхугольник распахнутой двери, ведущей в освещённую лампой комнату. В левом нижнем углу – ночное окно, за которым метёт буря.

<...>

...Всё это надо было «сдвинуть» метафорой, гиперболой, эпитетом, не нарушив, однако, основных отношений между элементами.

<...>

...Нетрудно было представить себе комод бушменом, во вспоротом животе которого копаются медлительный палач – перебирающая что-то в ящике экономка, – «абберрация первой степени», по моей тогдашней терминологии. Нетрудно было, остановив вращающийся за окном диск снежного вихря, разложить его на семь цветов радуги и превратить в павлиний хвост – «абберрация второй степени». Гораздо труднее было, раздвигая полюсы в противоположные стороны, увеличивая расстояние между элементами тепла и холода (жёлтым прямоугольником двери и чёрно-синим окном), не разомкнуть цепи, не уничтожить контакта.

...А вот что получилось после таких многоумных прикидок и расчётов:

*Вскрывай ореховый живот,
Медлительный палач бушмена:
До смерти не растает пена
Твоих старушечьих забот.*

Поэтические эксперименты Лившица за версту шибали беспримесным и едким лабораторным духом. Великолепный мастер стиха, Лившиц, пытаясь писать по футуристической моде, проигрывал даже самым бездарным из бурлюковской шайки.

Воспоминания Лившица назывались «Полутораглазый стрелец». Полутораглазый стрелец – это скиф, полуобернувшись, уметивший из лука. Чего, кого уме-

тивший? – да не всё ли равно: цивилизацию, культуру, Россию. Скифское начало притягательно: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами!», – писал Блок, одной фразой отменяя то, что русские не были потомками скифов, скифы не были азиатами и глаза имели вполне себе европеоидные. Но уж такова необорная сила скифской стихии.

Искания собственного языка для поэта мучительны. Тут в кого угодно можно поверить, даже невнятные бормотания можно принять за поэзию...

*Бобзоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиззо пелись брови,
Лиззэй – пелся облик,
Гзи-гзи-гззо пелась цепь.*

Лившицу не удалось ничему научиться у Хлебникова, так что, опомнившись после футуристического шока, он продолжил писать стихи.

В каждой главе «Полутораглазого стрельца» чувствуется незыблемый каркас, основная мысль, на которую автор решительно и неутомимо нанизывает слова, образы. Абсолютная несвобода.

...Русский футуризм – это всегда в первую очередь вопрос о деньгах. Буржуазия готова была раскошелиться на антибуржуазные представления, так что коммерческое предприятие процветало. Революция, уничтожившая буржуазию, сделала футуризм бессмысленным.

Набирающее силу советское мещанство, отъевшись, живо заинтересовалось футуристическими изысками, что объясняет возрастающую популярность «Полутораглазого стрельца» с начала оттепели.

История русского футуризма – это история обречённой борьбы футуристов с этим наименованием. Гилейцы, будетляне, но как розу ни назови, она остаётся розой...

Нелепое название для русских националистов, паназиятов...

Маринетти только Маяковского мог бы принять за своего, да и то не без некоторых оговорок.

«Полутораглазый стрелец» перегружен теоретическими рассуждениями. Как будто Лившиц спустя десятилетия пытался деспорить то с Бурлюком, то с Маринетти.

Когда началась Первая мировая война, Лившиц отправился на фронт. Только Гумилёв мог сравниться с ним в боевом опыте. Вернулся Лившиц с войны раненый и награждённый.

Велика роль Лившица в проникновении в Россию французской поэзии. Переводчиком он был на редкость умелым и плодовитым.

Ранние стихи Лившица читаются как великолепные переводы с французского. Постепенно точность перевода убывала, и под конец жизни Лившиц дописался до собственных стихов.

Первой поэтической книгой Лившица была «Флейта Марсия», открывавшаяся одноименным стихотворением.

*Да будет так. В залитых солнцем странах
Ты победил фригийца, Кифаред.
Но злейшая из всех твоих побед –
Неверная. О Марсиевых ранах
Нельзя забыть.*

Месть хаоса была воспета классическим сонетом.

История такова: сатир Марсий вызвал на соревнование в мусикийском искусстве самого Аполлона. Марсий превосходно сыграл на флейте, Аполлон заиграл на лире, и Марсий решил, что победа уже за ним, но лира – не флейта, играющий на лире может петь. Бессмысленной музыке невозможно состязаться со словом? Марсий проиграл, и с него заживо содрали кожу.

Как поэт – тем более, такой поэт смыслов, как Лившиц, может сочувствовать Марсию? Есть тут какое-то противоречие. Самая большая опасность, которая грозит поэзии – это вырождение в музыку, и русский модернизм сделал много неверных шагов в этом направлении. Сколько флейт одновременно заиграло!

Вспоминается рассказ Плутарха. Когда Алкивиаду рассказали, желая похвалить кого-то, что тот превосходный флейтист, Алкивиад возразил: «Должно быть, пустой человек! Потому что только у пустого человека может быть время для обучения игре на флейте», и добавил: «Флейта затыкает рот, так пусть на ней играют те, кто говорить не умеет!»

*Большая девственностью, ты,
Как призрак, бродишь в старом доме,
Лелея скорбные цветы,
Тобой взращённые в содоме
Нимфоманической мечты.*

Толика непристойности оживляет поэзию. Неудивительно, что «Флейта Марсия» была запрещена цензурой.

Из твёрдых форм Лившицу лучше всего удавались рондо.

«Волчье солнце» – единственный хоть как-то футуристический и явно худший сборник Лившица.

«Из топи блат». В книге возрстал, «угрюмо созидался» страшный Петербург – гоголевский, Достоевский и, в конце концов, лившицевский. Многие отмечают в сборнике сильное мандельштамовское влияние, но если посмотреть на даты стихов, то ничего не сходится.

Путь Лившица как полностью самобытного поэта начинается со сборника «Патмос». Вот где свободно сказалось классическое образование, а культура перестала быть гнётом, но стала ценным материалом для поэзии.

Последней книгой, которую успел составить Лившиц, был сборник «Картавельские оды». Русскую поэзию издавна тянуло на Кавказ, а Грузия была единственным доступным вариантом земного рая.

Советская власть вспомнила о Лившице в 37-м году, но промурыжила до 38-го.

*Вот и всё. Конец венчает дело.
А казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выражение мёртвого лица, –*

писал Вильгельм Зоргенфрей, шедший по одному делу с Лившицем и расстрелянный с ним заодно...

«Трезвый, притворяющийся пьяным, оскорбляет и Аполлона и Бахуса», – писал о Лившице Чуковский, великий критик, так плохо разбиравшийся в поэзии, что чуть не проглядел собственный талант.

Лившиц никогда не притворялся пьяным, просто не умел пьянеть, хотя честно вливал в себя крепчайшие виды пойла.

Для того чтобы ценить стихи Лившица, надо их понимать. Стихи Цветаевой, Пастернака, Мандельштама завораживают так, что их можно любить, не понимая много или даже не понимая вовсе. И сами поэты не всегда понимали, что написали. Лившиц понимал всё, до последней буквы. И это отталкивает многих читателей.

Жаль... Лившиц действительно большой, настоящий поэт.

«Врачу – исцелись сам!» Великолепный знаток и оригинальный теоретик литературы, Лившиц запутался в собственном поэтическом пути: прирождённый акмеист зачем-то подался к футуристам и таким образом позволил трактовать своё творчество, исходя из чуждых, враждебных его таланту аксиом.

Не в ту дверь вошёл.

Дорого же это ему до сих пор обходится...



Мария
ПОХИАЛАЙНЕН

МИРАЖИ БЛИЗ ОЗЕРА БИВА

Рассказ

Историческая провинция Оми, где расположено озеро Бива (одно из древних названий которого тоже Оми), практически совпадает с современной префектурой Сига. Более половины её территории – гористая местность, около одной шестой занимает озеро Бива.

Из туристического проспекта

– Последний прогулочный корабль недавно ушёл. Вон виднеется. Нет, я не собирался на него, просто провожал знакомых. Если хотите покататься, придётся ждать завтрашнего дня.

О! Сегодня уезжаете в Киото... Вы с утра на поезде объезжали озеро Бива, чтобы полюбоваться им со всех сторон? Побывали в замке Хиконэ и в парке недалеко от него? А здесь, на станции Оми-Имадзу, вышли, мечтая окунуться в озеро, полагая, что от этой станции до него ближе всего? И Вам удалось на безлюдном берегу, вдалеке от домов чуть-чуть поплавать? Метров на двадцать пять, не больше? Нет, нет, я не удивлён, хотя это немного неожиданно.

Доводилось ли мне видеть миражи на озере Бива? Конечно, я же родом из здешних мест. Что можно увидеть? Мой приятель уже много лет снимает миражи, у него целая коллекция видео и фото: горы, мосты, здания, плавающие острова, корабли и рыбацкие лодки, пейзажи... А принцесса Нуката, когда приехала в эти края, написала танку:

*В мерцании звёзд
Возник и растаял вмиг
Сверкающий мост.
Дымка озеро скрыла...
Было ли то, что было?*

Но об увиденном мираже это или о чём-то другом?.. Может быть, принцесса написала про реальный мост Карасахи через Сэту – единственную реку, вытекающую из

• **Мария Похиалайнен** – поэт, переводчик. Автор сборника рассказов "Повозка времени" (2024), двух поэтических сборников, переводов стихов японской поэтессы Юми Каэдэ. Член Союза писателей и Союза переводчиков России.

озера Бива. Нет, нет, конечно, тот мост, сделанный из лодок-долблёнок, связанных лозами глицинии и винограда, не сохранился, а нынешний построен чуть севернее. Есть три знаменитых старейших моста. Кроме Карахаси, это Удзибаси – через Удзи, и Ямадзаки – через Ёдо. Возможно, Вы знаете, что река Сэта, пока не впадёт в Осацкий залив, дважды меняет название, становясь сначала Удзи, а потом Ёдо? О, Вы видели мост через Удзи? Да, да, там рядом статуя Мурасаки Сикибу. Тогда Вам, конечно, было бы интересно сравнить его с мостом Карахаси в Оцу, который считается чуть младше Удзибаси, но в истории, легендах и искусстве ни один не уступает другому. О, Вы видели укиё-э «Восемь видов Оми» Утагавы Хиросигэ? Да, да, там есть и мост через Сэту, но он не такой, каким его видела принцесса Нуката и не такой, как сейчас.

Раз уж Вы сегодня уезжаете, то перед отъездом надо обязательно попробовать бивамасу. Что это? Такая рыба, которая водится только в озере Бива. Около станции есть кафе, где её замечательно готовят.

На побережье озера Бива можно увидеть немало интересного. И услышать. Реальные истории постоянно перемешиваются с легендами. Любой расскажет, что император Кэйко, проживший более ста лет, последние три года правил из дворца в провинции Оми. Из восьмидесяти детей ему нелегко было выбрать наследного принца, тем более что самый прославленный сын императора – неистовый Ямато Такэру – безвременно взмыл в небеса белой птицей.

Однажды, ещё до переезда в Оми, Кэйко, придававший большое значение церемониалу, заметил, что во дворце на пиру не было придворного Такэноути Сукунэ и одного из принцев. «Кто-то должен охранять ворота, когда все веселятся, не думая о возможной опасности», – объяснил своё отсутствие принц. Вскоре его объявили наследником престола, он и стал потом императором Сэйму. О времени его шестидесятилетнего правления в хрониках написано не так уж много. Считается, что именно Сэйму установил границы земель и, надеясь прекратить частые смуты, распорядился поставить во главе провинций и уездов управителей, а в сёлах – старост, умелых и сообразительных. Говорят, что это возымело действие – люди стали жить в мире.

На третьем году правления Сэйму ввёл должность Ооми – Главного министра – и назначил на неё своего сподвижника Такэноути Сукунэ, родившегося с ним в один день и верно служившего ещё его отцу. Советник, опора и доверенное лицо трёх следующих императоров и регентши Дзингу, Такэноути Сукунэ, прожив чуть ли не триста лет, станет предком многих могущественных кланов, в том числе таких, как Кацураги, Сога...

Если предположить, что под именем Такэноути Сукунэ в хрониках описан не только он сам, но и его сын, и внук, то триста лет преданного служения престолу можно посчитать лёгким преувеличением.

Сэйму тоже жил долго – то ли 95, то ли 107 лет. Не имея сыновей, он передал трон племяннику, ставшему императором Тюаем. Тот, принято считать, отличался приятной наружностью, а ростом, как и его отец Ямато Такэру, превышал два метра. Супругой-императрицей была объявлена та, которая сейчас известна как Дзингу. Всего-то пару лет Тюай правил из провинции Оми, и загадочные события

его короткой, по сравнению с предшественниками, жизни происходили вдалеке от озера Бива.

Скорее всего и Кэйко, и Сэйму, и Тюай (или их прообразы) правили в IV веке, а не в начале нашей эры, как считалось когда-то. В общем-то, само существование этих государей под вопросом, но многие жители префектуры Сига уверены в их реальности. Оспаривать нет смысла – легендарные и полуполулегендарные личности могут жить сколь угодно долго и обитать в любом месте...

А вот 26-й император Кэйтай (чьё существование несомненно) родился недалеко от озера Бива, где-то в районе современного города Такасима, расположенного к северо-западу от озера. Его отец, правитель провинции Оми, считался потомком императора О-одзина в четвёртом поколении. Матушка будущего императора Кэйтая, слышшая красавицей далеко за пределами родной провинции Этидзэн, вела происхождение от императора Суйнина (тоже полуполулегендарного). Рано овдовев, она увезла сына на свою родину, где прошли его детство и юность, а возмужав, он стал правителем то ли провинции Оми, то ли провинции Этидзэн, а возможно, и их обеих. Сведения источников разнятся в определении возраста, когда к нему прибыли посланники с государевыми стягами.

Казалось немыслимым претендовать на трон при таком дальнем родстве с императорским домом (пятое поколение). Но скончавшийся император Бурэцу не имел детей, и некому было ему наследовать. Сначала придворные советники из могущественных кланов Отомо и Мононобэ подумывали обратиться к принцу Яматохико, далёкому потомку императора Тюая. К принцу были посланы вооружённые воины для сопровождения и охраны его паланкина по пути во дворец, где и собирались сделать заманчивое предложение – занять трон. Но Яматохико, издали заметив приближавшихся воинов и не зная их цели, скрылся где-то в горах, так что его не смогли найти. Принца Яматохико можно понять, прочитав о деяниях императора Бурэцу в «Нихон сёки». Такое не стоит пересказывать детям и юным девушкам. Некоторые исследователи полагают, что описанное – ложные наветы на Бурэцу. Впрочем, и в его реальности уверены не все.

Кэйтай взошёл на престол в провинции Кавати, где были сильны позиции клана Мононобэ, ставленником которого стал Кэйтай. Но до провинции Ямато, местоположения дворцов предыдущих императоров, он добрался лишь через двадцать лет. Судя по этому, установление его власти происходило не совсем мирно и гладко, но это было вдалеке от озера Бива. Здесь же берегут память о нём и даже гордятся тем, что кровь Кэйтая, родившегося в провинции Оми, течёт в жилах последующих императоров вплоть до нынешних времён.

Только через полтора века после отъезда Кэйтая Двор снова обосновался в провинции Оми. За пять лет до этого войска, посланные на помощь давнему союзнику на Корейском полуострове – государству Пэкче, потерпели поражение от объединённых сил Танского Китая и Силлы.

Опасаясь вторжения с материка, наследный принц Нака-но Оэ приказал построить укрепления на севере Кюсю и вдоль побережья Внутреннего моря. Их руины можно увидеть и сегодня. Трудно сказать, был ли перенос столицы связан главным образом с возможной военной угрозой, как предполагают некоторые. Не так уж далеко от предыдущих дворцов в долине Асука отстоял Оцу, куда переехал Двор.

К этому времени прошло больше пяти лет, с тех пор как скончалась императрица Саймэй, матушка Нака-но Оэ, а он всё ещё не вступил на престол официально, оставаясь наследным принцем уже долгих 23 года. Но и при императоре Котоку, и при императрице Саймэй управление государственными делами Нака-но Оэ крепко держал в своих руках. Недовольных его жёсткостью хватало. Убийство министра Сога Ирука, казнь принца Арима, обвинение в замысле мятежей своих прежних сторонников вызывало опасение многих. Да и реформа Тайка находила немало противников среди провинциальной знати, потерявшей прежние привилегии. Возможно, это тоже послужило причиной покинуть Асуку. И вот Нака-но Оэ, перебравшись в новый дворец около озера Бивы, наконец-то официально взошёл на трон, став императором Тэндзи.

В хрониках упоминалось, что многие не одобряли перенос столицы, в народе распевали издевательские песни, а пожары как знак протеста случались постоянно. Хотя в записках потомков Накатоми Каматари, верного сподвижника и друга Тэндзи, наоборот, написано, что в то время беспорядков не случалось. Более того, когда император объезжал страну, народ повсюду перевозносил его благодарственное правление, называя Тэндзи добрым и сострадательным: не стало видно земляных от голода лиц, и даже появились дома с избытком запасов. Сам Накатоми Каматари умер в Оцу, получив перед смертью от глубоко опечаленного императора новое родовое имя – Фудзивара.

Одной из неоспоримых заслуг Каматари считается составление несохранившегося кодекса «Омирё» – основы для последующих сводов законов. Был ли он создан в Оцу при Тэндзи, точно неизвестно, но служба времени возникла именно тут. В святилище Ооми-Дзингу 10 июня 671 года (по григорианскому календарю) впервые установили водяные часы, собственноручно изготовленные императором Тэндзи по китайскому образцу. Бой колокола и барабана извещал о наступившем часе. Сейчас в этот день отмечается «Юбилей времени», а в святилище Ооми-Дзингу императора Тэндзи почитают как божество.

Из десятка жён Тэндзи только одна принадлежала к императорской семье – Ямахохимэ, дочь принца Фурухито-но Оэ, убитого по приказу Тэндзи почти за четверть века до этого. Она и стала супругой-императрицей. Обвинение её отца в замысле мятежа многие считают безосновательным – принц Фурухито-но Оэ, уйдя в монахи, отказался от несомненных прав на престол после отречения императрицы Когёку. Но если бы его дочь вышла замуж за другого члена императорской семьи, её дети, да и она сама, вполне могли претендовать на трон, что внушало опасения Тэндзи. А возможно, он, испытывая угрызения совести, решил позаботиться о благополучии принцессы, по его вине потерявшей отца, рассчитывая этим умиротворить дух Фурухито-но Оэ.

Наследным принцем был назначен Оама, младший брат Тэндзи. Но отношения между ними с определённого времени складывались непросто. Однажды в разгар пира произошёл неприятный случай. Принц Оама среди общего веселья, схватив копьё, проткнул им настил пола. Что стояло за этим поступком, сейчас сказать трудно, но явно он не был проявлением симпатии. Памятуя о крутом нраве Тэндзи, последствия для принца Оамы могли стать трагичными. Разгневанного и быстрого на расправу императора каким-то образом успокоил его верный сподвижник Накатоми Каматари.

Некоторые предполагают, что одной из причин раздоров между братьями была принцесса Нуката: оба добивались её расположения. «Вот и смертный из-за жён / Тоже спорить принуждён...», – написал Тэндзи.

Прежде чем стать его женой, принцесса Нуката была замужем за принцем Оамой, с которым они и потом обменивались поэтическими посланиями. К кому из них лежала её душа, покорилась ли она чувствам или подчинилась обстоятельствам – можно только предполагать. Неопровержимых доказательств, что именно сердечные дела обострили отношения братьев, нет, а косвенных, вроде стихотворений из «Манъёсю», явно недостаточно. Уж если даже по хроникам реальную картину установить трудно, можно ли её воссоздать по поэтическим антологиям?

Дочь Оамы и Нукаты, принцесса Тоти, стала женой первенца Тэндзи, принца Отомо, их сын родился в Оцу. Казалось бы, примирение между братьями должно было состояться. К тому же Тэндзи отдал четырёх дочерей замуж за принца Оаму (две из них потом станут императрицами).

Когда император серьёзно заболел, он, говорят, предлагал брату взять управление делами государства. Но тот отказался, сказав, что удалется в буддийский монастырь. По его мнению, на трон могла бы взойти супруга-императрица Яматохимэ, а принц Отомо взял бы на себя регентство. Оама уехал в Ёсино, с ним отправилась одна из его жён – дочь императора Тэндзи. Действительно ли Оама собирался стать священником, опасался ли за свою жизнь, что небеспочвенно, зная характер Тэндзи, или уже лелеял планы захвата власти после смерти императора, можно только догадываться...

За год до этого впервые была введена должность Великого министра, на которую назначили принца Отомо. О его матери известно мало, только то, что она была не слишком знатного рода, происходила из провинции Ига и служила при Дворе, когда Тэндзи, будучи ещё наследным принцем, обратил на неё внимание. Их сына он и хотел видеть на престоле.

В официальных хрониках эпохи Нара написано, что, так и не оправившись от болезни, Тэндзи скончался во дворце, а в других, что он пропал без вести, когда охотился в Ямасине. Сейчас это район Киото, а тогда – дикая лесистая местность, где удалось обнаружить только обувь императора, которая и была захоронена. Тело Тэндзи не нашли. По одной из версий, его спрятали убийцы, подсланные принцем Оамой.

Ещё можно прочесть, что император нашёл свою смерть очень далеко от Оми – на острове Сикоку в горах. У подножия одной из них есть гробница, которая почитается как место захоронения Тэндзи.

Во всяком случае, мавзолеем Тэндзи официально обозначен восьмиугольный курган в районе Ямасина. Сохранились грустные стихи овдовевшей Яматохимэ, о том, что, хотя им с мужем уже не быть вместе, она его никогда не забудет и печаль её неизбежна.

После смерти отца наследный принц Отомо взял на себя обязанности императора. Но вскоре принц Оама, собрав войско, пошёл против Двора в Оцу. Началось противостояние, известное сейчас как война Дзинсин. Победу одержал Оама, а его племянник, потерпев поражение, покончил жизнь самоубийством.

Официальная могила Отомо находится в городе Оцу рядом с храмом Миидэра. Мост Карахаси был местом последнего сражения. По здешней легенде принцу Отомо с одной из жён, кем-то из детей и горсткой слуг всё-таки удалось скрыться, а где-то в префектуре Канагава есть его могила, причём не одна.

В нарских хрониках не сказано о восшествии на престол принца Отомо, и до сих пор ведутся споры, успел ли он пройти церемонию интронизации. Если нет, то смута Дзинсин всего лишь столкновение двух принцев, что уже бывало в истории, а если да... Мятеж против императора считался тяжким преступлением. Но победителей не судят, а им оказался принц Оама, ставший императором Тэмму. Он перенёс столицу обратно в Асуку, где его потомки составляли исторические хроники, дошедшие до нас. Лишь в эпоху Мэйдзи принц Отомо был включён в список императоров под именем Кобун. Традиция давать посмертные имена в китайском стиле началась только с VIII века, а ввёл её Оми Мифунэ, правнук принца Отомо и принцессы Тоти. Он дал посмертные имена императорам, начиная с первого – Дзимму, заканчивая императрицей Дзито, но имя своего прадеда не включил в этот список, что неудивительно: в те времена приход к власти Тэмму должен был выглядеть оправданным и законным.

Оми Мифунэ, переведённый в статус подданного, уходил в монахи, но по императорскому приказу вернулся к светской жизни. Он занимал важные чиновничьи должности, слыл знатоком литературы и истории, руководил университетом-дайгаку. Считается, что Мифунэ был одним из составителей «Кайфусо» – знаменитого сборника стихотворений, написанных на китайском языке. Туда вошло и стихотворение его прадеда, принца Отомо. В жизни Оми Мифунэ были и недолгое заключение в тюрьме, и награды за верную службу близ озера Бива во время восстания Фудзивара Накамаро, правнука Фудзивара Каматари. Кстати, войско Накамаро потерпело поражение возле города Такасима, где за триста лет до этого родился император Кэйтэй. Фудзивара Накамаро с жёнами и детьми попытался переправиться на лодке через озеро Бива, но был убит, а его голову отправили в столицу.

В следующий раз Двор переместился в окрестности озера Бива через семьдесят лет после войны Дзинсин, уже при императоре-скитальце Сёму. Он трижды за пять лет пытался покинуть Нару, где не мог обрести душевного покоя. Во второй переезд Сёму выбрал для дворца местечко Сигараки в южной оконечности провинции Оми. Сейчас это часть города Кока. И храм со статуей Большого Будды для успокоения страны, прекращения бедствий и обеспечения счастья народа Сёму первоначально собирался построить не в Наре, а здесь.

Как назло, в окрестностях Сигараки стали происходить землетрясения и вспыхивать лесные пожары. Сочтя это дурным знаком, император отменил строительство, решив перебраться в Наниву, но и там он пробыл недолго, вновь вернувшись в нелюбимую Нару. В конце концов Сёму, отрёкшись от престола, передал власть своей дочери, ставшей императрицей Кокэн, а она после почти десятилетнего правления уступила трон императору Дзюннину. Тот приказал перестроить дворец в Наре и на это время перенёс свою резиденцию в окрестности озера Бивы на правый берег реки Сэты, где и был возведён Северный дворец Хора.

Многие аристократы уже начали строить свои дома вблизи. Может, со временем Двор бы и переехал сюда насовсем, но...

Последующие события времени Кокэн и Дзюннина, довольно драматичные, а иногда и трагичные, происходили в других провинциях. Конечно, не считая восстания, поднятого Фудзивара Накамаро, основные действия которого происходили близ озера Бива. Дзюннин вынужденно покинул трон и был сослан на остров Авадзи, не получив титул «императора в отречении» и всех полагающихся к нему почестей. Совершив неудачную попытку побега, он скончался на следующий день, по официальному объявлению – от болезни. На тот момент ему было едва за тридцать. Сведения о проведении Великой траурной церемонии не сохранились. Как и император Кобун, посмертное имя в китайском стиле Дзюннин получил только в девятнадцатом веке. Но ему, 47-му императору, и по сей день отдают почести в святилище Суга в городе Нагахаме на севере префектуры Сига.

В дальнейшем императоры лишь изредка посещали Оми, но события, разворачивающиеся там, продолжали быть значимыми и захватывающими...

О, Вам очень понравился чай? Он из района Асамия, там и находится Сигараки, куда когда-то хотел перенести Двор император Сёму. Асамия-чай считается одним из лучших чаёв в Японии. А мне он кажется самым лучшим, особенно, если пить его из керамических чашек, сделанных в Сигараки, – там на близлежащих холмах добывают необыкновенную глину из отложений старого озера Бива. И керамика Сигараки славится с давних пор.

Говорят, что семена чая из Китая в начале девятого века привёз Сайтё, кстати, уроженец здешних мест... Да, да, тот самый Сайтё – основатель буддийской школы Тэндай. Он посеял семена чая у подножия горы Хизэй. Незадолго до этого император Камму перенёс столицу в Киото. По его замыслу, гора Хизэй должна была защищать город с северо-востока, откуда проникают злые демоны. Когда сын Камму, император Сага, объезжал провинцию Оми, ему в храме Бонсяку, ныне уже заброшенном, преподнесли чай. Это событие считается первой описанной чайной церемонией.

Основанный Сайтё на горе Хизэй храм Энряку существует до сих пор, а о роли его в средневековой истории можно судить хотя бы по словам императора Сиракавы: «Только три вещи неподвластны мне – воды реки Камо, игральные кости сугороку и монахи горы Хизэй». А императора Сиракаву язык не повернётся назвать слабой натурой. Вообще-то, храм Бонсяку (как и некоторые другие) перестал существовать не без содействия монахов-воинов храма Энряку... Много чего происходило близ озера Бива в далёком прошлом, да и не только тогда, за вечер обо всём не расскажешь.

Жаль, что Вам приходится уезжать, так и не увидев здешних миражей. О, Вы рады были услышать о них? Ну да, легенды, по-своему, тоже миражи... Ну а то, что кажется реальностью, не мираж ли?



Юрий
СОЛОДОВНИКОВ

ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР

Лирическое эссе

Дом, человеческий дом,
Вечен он в круге земном.
Древен и молод, как мир,
Изливает он в сердце мир.
Всё умирает кругом –
Жив человеческий дом.

Александр Солодовников

Этот эпиграф я взял из пьесы моего дяди, Александра Александровича Солодовникова, «Пенаты, или Похвала бабушкам», написанной им в 1932 году. Это была последняя пьеса из цикла «Святочных представлений», которые шли у Солодовниковых с небольшими перерывами с 1921 года.

Идея таких представлений, или домашних спектаклей, возникла у автора под влиянием «Святочных рассказов» Чарльза Диккенса. Эта книга, изданная в Санкт-Петербурге в 1886 году, стояла среди русских и зарубежных классиков на полках старого книжного шкафа и, вероятно, перечитывалась не один раз.

Один из святочных рассказов, напечатанных в этой книге, называется «Сверчок на шестке». Вспоминается русская поговорка «Всяк сверчок знай свой шесток». Поставленный в те годы на сцене 3-й студии Художественного театра спектакль под названием «Сверчок на печи» шёл с большим успехом.

Спектакли в семье Солодовниковых «давались» на Святках в первых числах Нового года. Их готовили заранее. Придумывали декорации, световые эффекты (ведь спектакли должны были быть волшебными и зрелищными), набрасывали эскизы костюмов. У меня сохранилось два акварельных эскиза костюмов к пьесе «Джон – весёлое сердце», выполненных Георгием Павловичем Гольцем (он же Жорж, как его тогда называли друзья),

• **Юрий Солодовников** – кандидат педагогических наук, искусствовед. Автор федерального учебно-методического комплекта для средней школы по предмету «Мировая художественная культура». Автор монографий и статей по истории Краснодарского Художественного музея им. А. Ф. Коваленко. Живёт в Краснодаре.

который в те годы оформлял спектакли в Московском театре для детей. Одновременно он профессионально занимался архитектурой. Построенное им здание для производственных мастерских организованного в 1929 году Всероссийского кооперативного объединения «Всекохудожник» сделало его имя широко известным. С годами его рисунки приобрели музейную ценность.

Подбирались и исполнители. В основной состав «труппы» входили представители двух семейств. От Солодовниковых это были сам автор, его братья Николай и Алексей. Вокальные партии исполняла всеми обожаемая их сестра Анна. Супруга автора, Нина Станиславовна, была постановщиком танцев. От семьи Мальмбергов в спектаклях наряду со старшими (дядя Рома, Кирилл, Евгений) участвовали и младшие – Толя, Нина, Руфина. Непременным участником был и их двоюродный брат Шурик Микини.

К назначенному дню со всех концов Москвы в доме на Гоголевском бульваре собирались участники спектакля, дальние родственники, друзья и даже соседи.

Всех гостей радушно встречали самые старшие: Александр Дмитриевич Солодовников и его жена Ольга Романовна Солодовникова, урождённая Мальмберг.

Александр Дмитриевич Солодовников был личностью примечательной. Сначала он ходил в немецкий пансион Эмиля Христиановича Рэмпе, потом учился во второй Московской гимназии, куда с книгами и письменными принадлежностями ездил из дома на Разгуляе, где тогда жили его родители.

Высшее профессиональное образование он получил на юридическом факультете Московского университета.

На гимназической фотографии того времени его лицо ещё по-юношески чисто, на студенческой уже видны пробивающиеся усики. Форменные тужурки застёгнуты на все пуговицы. Став преподавателем, он отрастил бороду, что придавало ему более внушительный вид.

В студенческие годы, слушая лекции приват-доцента Московского университета Николая Николаевича Харузина, он стал посещать его кружок и серьёзно увлекся этнографией. В 1892 году в составе этнографической экспедиции он изучал и зарисовывал крестьянские постройки эстонцев Ревельского уезда. Сейчас эти карандашные рисунки, сделанные с документальной точностью, хранятся в научном фонде Российского этнографического музея.

После окончания университета Александр Дмитриевич Солодовников стал преподавать основы законовведения в московских гимназиях и в Московской Практической академии коммерческих наук, писать учебники, выдержавшие не одно издание. Их можно увидеть в фондах Государственной публичной библиотеки.

«За отлично-усердную службу и особые труды» он был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степени, серебряной медалью на Андреевской ленте в память священного коронования Государя Императора Николая II, светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте в память 100-летия Отечественной войны 1812 года. Благодарные ученики не раз преподносили ему памятные адреса.

Интерес к этнографии у Александра Дмитриевича сохранялся ещё долго. В 1901 году в Москве был издан роскошно оформленный иллюстрированный боль-

шой сборник «На трудовом пути», посвященный тридцатипятилетию литературно-педагогической деятельности Дмитрия Ивановича Тихомирова. В нём были собраны рассказы, очерки, стихотворения и даже музыкальные пьесы. Среди произведений уже известных писателей Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. А. Бунина, Т. А. Щепкиной-Куперник, Н. Д. Телешова на страницах 156–162 был опубликован и рассказ А. Д. Солодовникова «Сказка Реджаба». Чистый сбор от продажи сборника поступал на стипендии для детей-сирот учителей народных школ.

Оттиск рассказа «Ардаш и Елизбар. Грузинская легенда», опубликованного в журнале «Детское чтение», он подарил родителям с трогательной надписью: «Дорогим и любимым папе и маме сын – автор».

Дмитрий Дмитриевич Солодовников, брат Александра Дмитриевича, тоже был человеком неординарным. Как и его брат, он учился во второй Московской гимназии и так же, как и он, был студентом Московского университета, где проходил обучение на историко-филологическом факультете. После его окончания он, работая учителем в воскресной школе при Прохоровской мануфактуре, увлёкся социал-демократическими идеями, за пропаганду которых в 1891 году был арестован и на три года сослан в Рязань. После окончания ссылки он остался в этом городе до конца своей жизни.

Родители восприняли арест сына с религиозным смирением. Его отец, обращаясь к нему, писал «ободряющие» письма. «Что делать, – писал он в одном из них, – надо воле Божией повиноваться с терпением. Всё Господь даст, и ты будешь с нами. Будем уповать на волю и на милость Божию». В другом был тот же призыв: «Милый и дорогой Митя, ожидаем тебя к себе. Нам очень хочется тебя видеть, но надо уповать на Бога и Божию Матерь и иметь терпение».

В Рязани Дмитрий Дмитриевич, кроме преподавательской работы в мужской и женской гимназиях, занимался изучением истории и этнографии Рязанского края. Сохранились оттиски его рассказов «Посоха» и «Про подьячего Проклюева», опубликованных в детском журнале «Юная Россия».

В 1921 году он стал сотрудником Рязанского историко-художественного музея, в котором работал до конца жизни. В 1930 году с двумя соавторами, Г. В. Державиным и Е. И. Яблоковым, опубликовал путеводитель «Поездка в Солотчу». В 1943 году его наградили знаком «Отличник народного просвещения».

Родители очень гордились успехами своих сыновей. Сохранилось письмо матери, в котором она писала сыну Александру: «Низко, низко до самой земли преклоняю перед тобой свою седую голову, мой дорогой Саня, за твою любовь к избранному тобой делу, за твоё хорошее отношение к учащимся у тебя и вообще к людям; а твоим ученикам большое спасибо за то, что они своим молодым чутким сердцем поняли и оценили твоё отношение к ним не как к пешкам, а как к людям. Дай Бог, чтобы ты не изменился, оставался бы таким же хорошим, чутким, не гордым, как ты теперь. Спасибо тебе, мой родной, за твоё одинаковое отношение как к одарённым Богом всем, так и к Им же обиженным. Последние не виноваты; может быть, и они стараются быть хорошими учениками, понимать так же скоро и хорошо; но, если им во всём этом отказано, где его взять. Пожалей их, дорогой, но не карай». «Дорогой мой, не бросай науки, занимайся ею, люби её, она тебе никогда не изменит».

Родословное древо семьи Мальмберг, как и родословное древо семьи Солодовниковых, тоже начинается с одного имени. Но сначала, как водится в таких случаях, небольшая семейная легенда.

Когда-то, много лет назад, в Швеции жили три брата по фамилии Мальмберг. Они были очень бедны и однажды, сидя перед камином, где догорали их последние дрова, решили искать лучшей доли в других странах.

Один из них, может быть, самый старший, уехал в Индию, чтобы торговать жемчугом, восточной парчой и слоновой костью. Никому не ведомый, он бесследно пропал где-то у подножия Гималаев.

Второй брат был музыкантом. В Стокгольме он за мизерные деньги бегал по урокам, обучая музыке детей из знатных семейств. Переселившись в Россию, попал в домашний оркестр какого-то неизвестного степного помещика и, никем не оценённый, заболев чахоткой, умер.

Третий брат, которого звали Христиан, был более счастливым. Переселившись в Россию, он осел в Прибалтийском крае и занялся литьем колоколов. Говорят, что в старых соборах Риги и Ревеля можно увидеть колокола с надписью «мастер Мальмберг».

Сын этого Мальмберга, Роман Христианович, обосновался в Москве в начале XIX века. Однако добиться успеха в коммерческих делах не успел. Он умер совсем молодым, оставив своей жене Анне Васильевне, урожденной Мусковой, четырёх сыновей: Василия, Ивана, Николая и Романа, которому в то время пошёл всего третий год.

Оставшись вдовой, Анна Васильевна сначала была экономкой в богатых домах, потом служила кастеляншей в частной гостинице. Переносить трудности ей помогал друг её мужа, известный меценат Савва Иванович Мамонтов. Он постоянно оказывал ей денежную помощь. Устроил её сыновей в учебные заведения, выплачивал им стипендии. Иногда приглашал всю семью в свой большой дом на Басманной улице и кормил вкусными обедами. Весной с большой компанией гостей и слуг вывозил их за городскую заставу. Эти дни своего детства Роман Романович Мальмберг считал самыми счастливыми.

Успешной была и его деловая карьера. Окончив Московскую Практическую Академию коммерческих наук на Покровском бульваре, он поступил на службу в Акционерное общество взаимного кредита и вскоре смог избавить свою мать от службы в гостинице.

Связи с Практической Академией, где он учился, Роман Романович Мальмберг никогда не терял. Когда в Академии решили устраивать семейные вечера и балы, он, обладая хорошим голосом, всегда принимал в них участие.

На одном из таких вечеров он познакомился с дочерью известного на всю Россию владельца многочисленных кондитерских фабрик купца и мецената Алексея Ивановича Абрикосова, Александрой Алексеевной, и вскоре сделал ей предложение.

В 1872 году состоялась их свадьба. Так на стволе семейного древа Солодовниковых появилась ещё одна родственная ветвь – ветвь купцов Абрикосовых.

У Романа Романовича Мальмберга и Александры Алексеевны, урождённой Абрикосовой, было восемь детей: Алексей, Ольга, Агриппина, Роман, Анатолий, Николай, Александра, Евгений.

Старшая дочь, Ольга Романовна Мальберг, стала женой Дмитрия Александровича Солодовникова и приняла его фамилию. Венчание состоялось 19 августа 1892 года в селе Черкизово близ станции Сходня Николаевской железной дороги. Устроенная с большим размахом свадьба состоялась на даче в селе Акатьево, недавно приобретённой отцом невесты. Свадьба была устроена с размахом. Для приехавших из города гостей было куплено невероятное число подушек, одеял и самой разнообразной посуды, «удобной для битья» после произнесения свадебных тостов.

Где провели медовый месяц молодые супруги, и где они проживали после свадьбы, выяснить даже приблизительно не удалось. В известном по почтовым открыткам «Доме Мальмбергов» родители Ольги, Роман Романович и Александра Алексеевна, проживали с 1903 по 1908 год. Дача в Акатьево была продана в 1904 году. А вскоре снесли и дом Мальмбергов.

Необходимость в собственном гнезде назревала давно. К этому времени у них было уже четверо детей Александр, Анна, Николай и Георгий. Старшему, Александру, было двенадцать лет, а младшему, Георгию, исполнилось девять.

Новое жилище они подыскали в самом центре Москвы на Пречистенском бульваре, названном так по имени церкви Пречистыя Богородицы Смоленской. Она находилась на территории Новодевичьего монастыря.

Бульварное кольцо, частью которого был Пречистенский, было заложено на месте разобранных стен и башен Белого города. Как память об историческом прошлом, площади между бульварами, сохраняя названия когда-то пробитых входов в крепостной стене Белого города, тоже назывались «воротами». Пречистенский бульвар протяжённостью 750 метров ограничен Пречистенскими и Арбатскими воротами. В 1924 году в честь 115-летия Николая Васильевича Гоголя Пречистенский бульвар был переименован в Гоголевский. На нечётной стороне бульвара под номером 29 и находился многоквартирный Доходный дом, принадлежащий Московскому Патриаршему подворью.

В доме было два входа. Один, ведущий с улицы, идущей вдоль бульвара, был парадным. В праздничные дни к каждому из имеющихся в доме четырёх подъездов подкатывали ещё сохранившиеся извозчичьи пролётки и начинающие входить в моду шикарные легковые автомобили. На каждом этаже перед квартирами были удобные просторные площадки. К ним вели широкие мраморные лестницы.

Другой вход был чёрным, рабочим, или служебным. Его узкие лестницы выходили во внутренний двор прямо из кухни, которая тоже была достаточно вместительной. По этим лестницам в дом поднималась приходящая прислуга, выносили мусор. По этой же лестнице, чтобы поиграть во дворе, выбегали дети.

В этот дом в квартиру под номером 25 и переехали Александр Дмитриевич и Ольга Романовна Солодовниковы. Здесь прошла вся их жизнь до самых последних дней. В этой квартире в 1910 году родился их последний ребенок, сын Алексей. В этом доме и в этой же квартире в 1915 году умер их третий ребенок, сын Георгий, которого в семье называли Юрием. Ему было всего 19 лет.

Квартира, которую занимали Солодовниковы, была просторной. У Александра Дмитриевича был свой кабинет. На фотографии, сделанной приблизительно в те годы, он, уже слегка располневший, сидит перед письменным столом в большом кресле. На стене за спиной развешаны памятные семейные фотографии.

Была и гостиная. В ней была расставлена старомодная удобная мебель и книжные шкафы. Там стоял великолепный рояль фирмы «Бехштейн». Висели портреты. Среди них был и большой портрет Ольги Романовны, выполненный углем профессиональным художником. Были отдельные комнаты и у детей. Младшие сыновья, Николай и Алексей, жили вместе.

По стенам в красных углах висели иконы, которыми благословляли на брак не одно поколение Солодовниковых. Особенно чтили икону Божией Матери Казанской, подаренную дедом Алексеем Романовичем Абрикосовым. Ею благословили на брак Ольгу Романовну. Чтили и икону Божией Матери Владимирской, которой благословили Александра Дмитриевича. Перед большой иконой Спаса Нерукотворного, подаренной потом сыну Александру, всегда теплилась лампада.

Солодовниковы придерживались привычного им образа жизни. Летом выезжали на дачу в подмосковное Акатьево или на Сенежское озеро. Ещё были живы их родители, давно ставшие дедушками и бабушками. Старшие внуки бережно хранили полученные от них подарки. Например, Шура Солодовников, проводивший с родителями лето 1904 года в имении Акатьево, получил от бабушки Сани (Александры Алексеевны Мальмберг) привезённый из Парижа большой Ботанический атлас на французском языке. Рассматривая цветные картинки, он на его страницы вписывал переведённые им названия цветов и трав, которые собирал во время прогулок по дачным местам.

Но время шло. Старший сын, Александр, окончив Московский университет, «в порядке отбывания воинской повинности» в 1916 году поступил в Киевское военное училище, после окончания которого, вернувшись в Москву, состоял в резерве 1-й запасной артиллерийской бригады. Дочь Анна была замужем.

Наступил 1917 год.

Историки, изучающие события этого года, постоянно меняют их оценки и роль в мировой истории. Бесспорно только то, что ни одна революция, какие бы благородные цели она ни преследовала, никогда не была бескровной. Логическим следствием Октябрьской революции или, если угодно, переворота, была развязанная Гражданская война, длившаяся целых два года. Она шла где-то на Урале, на Юге. До Москвы военные действия не доходили. Но в ней тоже было тревожно. Московские богатые купцы разорялись, их имущество экспроприировали, а просторные квартиры уплотняли.

Непросто было и семье Александра Дмитриевича и Ольги Романовны Солодовниковых. В двадцатые годы, в недолгий период НЭПа, Александр Дмитриевич Солодовников, используя свои знания юриспруденции и коммерческой географии, работал консультантом в советских учреждениях. В 1927 году вышел на пенсию. Мать, Ольга Романовна, по-прежнему занималась домашним хозяйством.

Богатством Солодовниковы не обладали. В послереволюционное время они сохраняли спокойствие и продолжали жить «по-старому», стараясь сберечь патриархальные дореволюционные традиции. Так же ходили в церковь, так же навещали друг друга, благо родственников было много, так же отмечали семейные праздники, Новый Год и Рождество. Летом выезжали на дачу. Сохранился небольшой масляный этюд деревни Морщирино. По свидетельству сына Николая, он был сделан «папочкой» из окна дома, в котором они жили летом в 1928, 1929

и 1931 годах. Деревянная рамочка к этому этюду тоже была сделана руками «папочки».

В этот же дом, в квартиру номер восемь, вскоре со своей женой Ниной переехал и старший сын Александр.

После окончания Гражданской войны, в двадцатые годы двадцатого века, когда Москва постепенно выползала из разрухи, в обществе осторожно нащупывались новые общественные отношения. Брожения были и в искусстве. В живописи преобладали формалисты. Оркестр Персимфанс выступал без дирижера. В театре проводилось множество различных экспериментов. Имена Мейерхольда, Таирова, Михаила Чехова были известны всем. Формировались и новые бытовые стандарты в частной жизни. Но принимались они не всеми.

В эти интересное время в 1921 году на Гоголевском бульваре в квартире старших Солодовниковых и состоялся первый домашний спектакль под названием «Колдовство Деда Мороза, или Святочное представление».

К этому времени Александру Дмитриевичу Солодовникову было уже 53 года. По воспоминаниям родственников, его карие глаза светились приветом и спокойствием, а красивое лицо с небольшой седеющей бородкой и вьющимися тёмно-русыми волосами светилось благожелательностью и душевным миром. Его жена, Ольга Романовна, во всём дополняла своего мужа и также излучала свет и тепло. Она прекрасно пела, аккомпанируя себе на рояле.

Пьес, написанных для святочных представлений у Солодовниковых, было всего пять: «Колдовство деда Мороза», «Медальон васильковых глаз», «Происшествие в кукольной лавке», «Джон – весёлое сердце», «Пенаты, или Похвала бабушкам».

Много позже, в 1961 году, их автор, Солодовников Александр Александрович, написал: «Пьесы для этих спектаклей не претендовали на глубину и художественность. Это были спектакли-шутки, имитировавшие старинные «святочные рассказы», но подчас за нарочито-наивным сюжетом скрывалось искреннее движение ума и сердца. Главной целью их было – объединить в спектакле всех членов семьи. По сравнению с первыми пьесами последние, особенно «Джон – весёлое сердце» и «Пенаты», несут более глубокие мысли. С них и следует начать знакомство со спектаклями».

Я не послушался совета автора и перечёл все пьесы в хронологическом порядке.

Сюжеты, действительно, были просты и незатейливы. Театральная коллизия всегда начиналась одинаково. Иногда это был одинокий старик, горюющий о потерянной внучке, или несчастный кукольных дел мастер, живущий в бедной лачуге со слепой от рождения дочерью. В нищей лачуге жили и цирковые клоуны с канатной плясуньей.

Главным действующим лицом в пьесах, конечно, был Дед Мороз. С его помощью и совершались рождественские чудеса – находилась потерянная внучка, слепая дочь обретала зрение, канатная плясунья оказывалась знатного происхождения, одинокие старики были окружены вниманием и любовью. Иначе и быть не могло. Таков был закон святочного жанра.

«Сборник», который я иногда перелистываю, это всего лишь машинописные страницы разного формата, собранные автором под одной самодельной облож-

кой синего цвета. На ней белым цветом, вероятно, жидким мелом, нанесён рисунок заснеженной ёлки и тонкий полумесяц, висящий высоко в небе. Некоторые страницы имеют уже «старческую желтизну». И почти на каждой – авторские поправки: уточняются даты представлений, дополняются или расшифровываются фамилии «артистов», приводятся ссылки на нотные листы, где записана сочинённая к спектаклям музыка. Возможно, эти поправки вносились по ходу подготовки представления. А может, они были сделаны гораздо позже, когда многие участники, как и сам Александр Александрович, уже достигли более зрелого возраста. Многих уже не было в живых.

Перечел я и эпиграф, предворяющий театральное «действие» последней пьесы «Пенаты, или Похвала бабушкам», взятый автором из святочного рассказа Диккенса «Сверчок на шестке».

Я прямо из книги выписал эту цитату полностью.

«Отовсюду: из камней очага, из камина, из часов, из трубки, из чайника и колыбели, с пола, со стен, с потолка, из буфета, из каждой вещи – отовсюду явилось множество волшебниц».

Действительно, дом, в котором разворачивалось действие пьесы, был наполнен «духами». У стены стоял «протёртый диван», в буфете «лежали ножи и ложки, стояли бокалы», блеснул тёмным лаком рояль. Когда открывали его крышку, по белым и чёрным клавишам «быстрые руки играли гаммы».

И, конечно, в углу стоял большой, набитый книгами шкаф. «В нём Диккенс – друг прелестный, / и милый Вальтер Скотт, / Гомеровские песни / и славный Дон Кихот. / В нём Пушкин – светлый гений, / и Гоголь и Толстой, / и Чехов, и Тургенев / хранятся зорко мной».

Книги из этого шкафа – «Святочные рассказы» Диккенса, сказки братьев Гримм на немецком языке, полное собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева в красном переплёте, изданное в 1884 году, и, конечно же, Пушкин, наполненные живыми воспоминаниями о тех, кто когда-то читал их, теперь стоят среди моих книг.

Каждая страница пьес, написанных Александром Александровичем Солодовниковым в начале века и вновь прочитанных им на склоне лет, волновала его. Детали обстановки, особенно в последней пьесе «Пенаты, или Похвала бабушкам», как будто взяты из реальной семейной жизни. Он открывал семейный альбом и, разглядывая старые, слегка пожелтевшие фотографии, погружался в воспоминания.

Вспоминался дед, Дмитрий Дмитриевич Солодовников, и его подарки внукам: тёплые перчатки, шерстяные шапки, особенные мягкие курточки. Вспоминаются и поездки, которые совершал дед вместе с сыном и внуками в Троице-Сергиеву лавру. Там он покупал для них иконы и большие пасхальные яйца с игрушками. В семейной библиотеке сохранилась старинная, небольшого формата книга в тёмно-коричневом кожаном переплете. К сожалению, страница, на которой обычно указывался год издания, оторвана. Не сохранились и медные застёжки, «запиравшие» книгу после её употребления. По этой книге дед неторопливо, со значением читал на старославянском языке Месяцеслов, Тропари, Молитвы. После его смерти она перешла к Александру Дмитриевичу Солодовникову, а потом

к его сыну и внуку. Эта семейная история собственноручно отмечена всеми на обратной стороне твёрдой обложки.

Вспоминаются и исполнители. Их фамилии указаны в каждой пьесе после имени «действующего лица».

Из старших «артистов» вспоминаются Роман Романович Мальмберг, исполнявший басовые партии, и его брат Евгений Романович, «нежнейший тенор, толстяк и добряк», который был горячим болельщиком семейных спектаклей, но участвовал в них непостоянно. В спектакле «Пенаты» он должен был исполнять роль «духа дивана». Почти в каждом спектакле играли их дети – Руфина и Кирилл (дети Евгения) и Зоя и Нина (дети Романа).

Вспоминалась и обожаемая всеми братьями сестра Анна. В первой пьесе, «Колдовство деда Мороза», она исполнила роль уличной певицы. Пьеса была показана в Рождественские дни 1921 года, а в 1922 году она уехала в Италию учиться пению. В 1928 году в итальянском городе Катания состоялся её оперный дебют. На сцене королевского театра Массимо в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад» она исполнила роль Ульрики.

В последней пьесе, «Пенаты, или Похвала бабушкам», в роли внучки должна была выступить дочь автора, семилетняя Мариночка Солодовникова. Из-за болезни артистки этот спектакль не состоялся.

В 1931 году один за другим умерли родители автора. Сначала 22 июня 1931 года умер отец, Александр Дмитриевич, потом, пережив мужа всего на три недели, 5 июля 1931 года умерла и мать, Ольга Романовна. Их похоронили рядом в одной могиле на Ваганьковском кладбище.

Как выглядел дом номер 29 по Гоголевскому (Пречистенскому) бульвару, где жили Солодовниковы, можно увидеть на старой открытке. Но, к сожалению, время сохраняет не всё. При жизни автора я посещал этот дом не один раз. Но город менялся. Изменился и Гоголевский бульвар. Его постоянно благоустраивают. Дополняют.

Изменился и дом. В начале XXI века его полностью отреставрировали, сохранив в его облике только модный в то время стиль ампир. Изменились и когда-то населявшие его жильцы. Теперь он кажется чужим.

Ушли из жизни и все Солодовниковы, жившие в этом доме.

Но «духи дома» живы и жива память о них.

К дому можно подойти. Постоять. Подумать.

Вспомнить.



К ПЕРЕВОДУ РАССКАЗА ВАЛЬТЕРА КАБЕЛЯ «БЕДНЫЙ ПАРЕНЁК»

Вальтер Кабель (Walther August Gottfried Kabel, 1878–1935) – немецкий писатель-беллетрист. Так случилось, что не только нашей широкой читательской аудитории, но и специалисту-литературоведу он практически неизвестен.

Для немецкой же аудитории Вальтер Кабель представляет собой значимую фигуру в литературе первой трети XX века. Не классик, но один из самых читаемых немецких писателей 1920-х годов. Да и в наше время у него есть свои почитатели.

Жизненный путь Кабеля не назовёшь лёгким. В 19 лет Вальтер начал писать короткие рассказы. Публиковал детективные, приключенческие и подростковые романы под многочисленными псевдонимами.

В Первую мировую войну он был на передовой офицером, однако самым напряжённым периодом для писателя стали годы после войны. Как приходилось выживать простому человеку в Германии тех лет, ярко описано в романе Эриха Марии Ремарка «Чёрный обелиск». И Вальтер Кабель писал как конвейер, чтобы выжить, не гнушаясь сочинять по заказу одного из издательств для серии «Intimate Stories» эротические опусы.

В 1932 году Кабель, мечтая, как и многие бывшие военные, о возрождении Германии и не разобравшись в сути национал-социализма, вступает в НСДАП. Ему было уже за пятьдесят. Номер членского билета 998118 говорит о том, что он не был в первых рядах, да и само творчество свидетельствует, что писатель не был идейным нацистом.

Вступление в партию его не спасло. После того как национал-социалисты захватили власть в 1933 году, Кабель был назван «грязным и бесполезным автором» (Schmutz- und-Schund-Autor) и лишён возможности писать, а его произведения были запрещены. В 1935 году писателя не стало. Наиболее вероятная причина смерти – самоубийство.

Публикуемый рассказ В. Кабеля относится к массовой литературной продукции, не претендующей на внимание тонких знатоков, но дающей представление об эстетических притязаниях широкой публики в Германии первых десятилетий XX века.

ВАЛЬТЕР КАБЕЛЬ (1878–1935)**БЕДНЫЙ ПАРЕНЁК***Рассказ*

Капитан Борис Мантов до поздней ночи работал в военном министерстве над новыми мобилизационными планами, и только зверский аппетит заставил его покинуть свой кабинет, чтобы пойти в один из ближайших ресторанов, где он спешно перекусил, не спуская глаз с лежащего рядом портфеля с важными документами. Затем он поймал такси – нелёгкая задача в Софии в военное время – и поехал в свою роскошную квартиру, расположенную на тихой улице. Наконец машина остановилась. Он быстро расплатился, взял портфель под мышку и поднялся по лестнице к входной двери. Он уже повернул ключ и взялся за дверную ручку, как вдруг жалобный детский голос заставил его испуганно посмотреть в сторону. В тёмном углу, у большой двустворчатой двери съёжился закутанный в рваный мокрый плащ мальчик, возможно, лет десяти, который робко поднял голову, услышав тихий зов капитана, попытался встать, но с криком боли опустился.

«Что ты здесь делаешь, мальчик? – с жалостью спросил капитан. – Иди домой, простудишься. Вот, возьми!» И он поднёс к его глазам серебряную монету. Но мальчик не пошевелился и не обратил никакого внимания на монету. Только жалобный стон стал сильнее, и маленькое тело теперь дрожало как осиновый лист.

«Говори же, мальчик! Я тебе добра желаю!» – ещё раз подбодрил он ребёнка.

«Господин, я голоден, так голоден! – раздался тонкий голосок. – Я не могу идти, я уже упал, а все мои спички лежат там – там, в грязи. Господин, только не в полицию, не в полицию!» – умолял он, сжимая руки и снова заливаясь слезами. «Они запрут меня! Я не должен попрошайничать... Мама побьёт меня, если я приду домой без денег!»

Капитан всё понял... Что ж, этот бедный мальчик должен когда-нибудь почувствовать, что есть ещё милосердные люди, должен же он когда-нибудь наесться досыта и выспаться в тёплой, уютной комнате!

Десять минут спустя Василий, как он представился, сидел в кресле за столом в кабинете капитана, завернутый в сухое, но слишком большое для него бельё и плед, и жадно глотал холодные блюда, которые ему подавали. Мантов не стал будить своего старого слугу Кирилла, который спал в маленькой комнате за кухней, и сам всё взял из холодильника, даже помог мальчику снять насквозь промокший плащ. Теперь он стоял рядом и любовался тем, с каким аппетитом ел ребёнок. Ростан, большая борзая капитана, тоже быстро подружился со странным гостем, хотя сначала рычал на него.

Капитан осторожно начал задавать вопросы мальчику. Он расспрашивал его обо всех подробностях. И эти по-особенному мудрые, почти настороженные детские глаза задумчиво смотрели на него некоторое время, прежде чем он получал ответ. «Бедная испуганная душа, бедный паренёк!» – снова и снова думал сочувствующий мягкосердечный офицер, который совсем не замечал того, как внимательно эти глаза осматривали каждый предмет в комнате и как часто в них вспыхивало насмешливое торжество.

Когда Василий наелся, капитан приготовил для него постель на мягком диване в углу, а также отнёс Ростана в спальню, чтобы собака не беспокоила ребёнка. Затем он приступил к работе, чтобы завершить свою задачу, столь же срочную, сколь и сложную. На письменном столе лишь горел наполовину затемнённый электрический светильник, так что фон обширного помещения был окутан серыми сумерками. Вскоре капитан, делая перерыв в работе, услышал глубокое, ровное дыхание бедного мальчика, которого усталость, несомненно, погрузила в глубокий сон без сновидений. Так прошли часы. Но работа капитана Мантова никак не хотела продвигаться. Он тщетно пытался сохранить бодрость, выкуривая сигару и наслаждаясь свежесваренным чаем. Очевидно, он был слишком высокого мнения о себе, когда пообещал начальнику отдела подготовить выписки из планов к следующему утру. Отчаянным усилием он вновь сосредоточил внимание на своей задаче. Часто у него слипались глаза от усталости. Насильно он снова открыл их. Он ведь должен был закончить работу. Должен был...

Прошло ещё полчаса. Мантов уже крепко спал в своём рабочем кресле, положив голову на руки, опиравшиеся на столешницу.

Маленькая фигура на диване вдруг ожила. Мальчик осторожно выпрямился и принял сидячее положение, затем сполз с кровати и бесшумно подкрался к своей рваной одежде, сваленной в кучу в одном из углов. За несколько секунд он оделся, не издав ни малейшего звука. Лицо ребёнка, которое раньше выглядело полным страдания, теперь совершенно изменилось. В этих резких заострённых чертах лица, плотно сжатых губах и пытливых беспокойных глазах, которые неустанно оглядывали спящего, была собрана вся энергия и испорченность души непорядочного уличного мальчишки.

Медленно идя по мягкому ковру, мальчик подходил всё ближе и ближе к письменному столу, пока не оказался совсем рядом со своим ничего не подозревающим благодетелем. Затем грязная детская рука осторожно потянулась к рисункам, листкам бумаги, густо исписанным цифрами и словами, и сложенным тетрадам. Он взял всё это по частям, положил в одно место и, несмотря на небольшую scomканность, аккуратно засунул в кожаный портфель. Только к трём листам не осмелилась прикоснуться вороватая рука... Потому что на них лежали руки капитана Мантова.

Василий, «бедный паренёк», почти закончил свою работу. Почти! Ему ещё предстояло счастливо и незаметно скрыться с добычей. И это, пожалуй, было самое сложное. Его спокойный взгляд устремился на оконные занавески, он проверял и обдумывал. Но почему бы ему не взять с собой красивые золотые часы, которые лежали на столе рядом с толстым бумажником? И часы, и кошелек так же бесшумно оказались в кожаном портфеле.

Потом мальчик подкрался к окну и отдернул шторы. Снаружи уже рассветало. Надо было торопиться. Проворно, как кошка, он забрался на подоконник. Со скрежетом повернулся шпингалет, и одна створка открылась. Мальчик всё ещё колебался. Расстояние от окна второго этажа до земли довольно значительное. Но у него не было другого выхода.

В тихую комнату проник пронзительный грохот с улицы, словно чьё-то тело упало на тротуарные плитки. Затем послышался приглушённый крик боли, перешедший вскоре в жалобный плач. Из-за сквозняка закрылись оконные засовы... Но Мантов не проснулся.

Прошло два часа. Слуга капитана Кирилл нашёл своего господина всё ещё спящим в той же позе. В следующую минуту поступил телефонный звонок в полицию, а ещё через десять минут совершенно отчаявшийся капитан помчался в полицейское управление на срочно прибывшей машине. Там он обратился к дежурному инспектору, подробно изложив суть дела, и попросил немедленной помощи, ссылаясь на важность украденных документов и добиваясь того, чтобы на след мальчика без промедления вышли все доступные детективы. На тот момент капитан Мантов больше ничего не мог сделать. Удручённый, он вернулся в свою квартиру. Если документы не будут найдены, если они окажутся за границей, в руках враждебной державы, он будет опозорен навеки.

Прошёл ещё один час, Мантов как раз собирался отправиться в военное министерство, чтобы сообщить о столь тщательно спланированной краже секретных документов, как вдруг в кабинет капитана вошёл инспектор уголовного розыска с толстым кожаным портфелем в руках.

Достаточно было одного взгляда: Мантов сразу узнал свой портфель, и у него словно камень свалился с души. «Нам повезло, господин капитан! – начал инспектор и с вежливым поклоном протянул ему портфель. – Мальчик сломал правую ногу чуть выше колена, выпрыгнув из окна, и с этой травмой смог добраться только до угла улицы, где его вскоре нашли и доставили в ближайший медпункт. Там изучили содержимое портфеля и обнаружили в кошельке карточку с Вашим именем, господин капитан». «Так-так, понятно. Так вот почему мне удалось так быстро вернуть себе украденные вещи. Ещё кое-что, господин инспектор: действительно ли маленького мошенника зовут Василий Елянский, как он мне представился? И кто, по-вашему, мог спровоцировать его на эту предательскую выходку?»

Инспектор пожал плечами. «Вероятно, я никогда не смогу ответить Вам на последний вопрос, господин капитан. Конечно, мальчик сразу же перестал отрицать неопровержимые доказательства своей вины. Но больше от него не последовало ни слова. И он будет упрямо молчать, какие бы хитроумные ловушки для него ни расставляли и какими бы заманчивыми обещаниями ни завлекали. Я хорошо знаком с этим видом преступной молодёжи. Разумеется, мы испробуем все средства, чтобы узнать его настоящее имя и место жительства, так мы сможем выйти на след не только его заказчика, но и, несомненно, разветвлённой опасной банды шпионов, которая наверняка давно следит за Вами. В любом случае, предполагаемый Василий будет помещён в исправительное учреждение до достижения им совершеннолетия. Но это так и останется единственным полезным последствием Вашего неприятного приключения, господин капитан».

С этими словами инспектор простился, хотя и не был прав в своём последнем высказывании, поскольку мягкосердечный Борис Мантов после случая с «бедным пареньком» стал другим человеком, таким, который поддавался чувству сострадания и проявлял милосердие только после самого тщательного изучения всех обстоятельств.

Перевод с немецкого *Е. Лебеда*

• **Евгений Лебедев** – лауреат VI Открытого конкурса художественного перевода имени Р. Р. Чайковского (Магадан, 2025) в номинации «Проза» (немецкий язык). Живёт в г. Санкт-Петербурге.

ГАНС ГУСТАВ БЁТТИХЕР (1883–1934)

СТИХИ

ГАНС ГУСТАВ БЁТТИХЕР (псевдоним – Иоахим Рингельнатц), немецкий прозаик, поэт, художник, актёр, практически неизвестный русскому читателю, заслонённый современниками-экспрессионистами. Творивший вне каких-либо литературных школ, Бёттихер может быть причислен к неоромантикам, в том числе и по чертам личности: человек с гротескной внешностью, вызывавшей насмешку, влюблённый в море и искусство, познавший славу и гонения (запрет на творчество при нацистах), умерший в нищете. Совершенно не умевший жить по-обывательски расчётливо, Бёттихер имеет шанс на благосклонный приём в русской культуре, традиционно приветливой к натурам, «презревшим грошевой уют» (П. Коган) ради жертвенного служения Высокому.

Виталий Пинковский

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ

Напрасна борьба. Смерть гонит волну.
Взорвался корабль. Ко дну – ко дну
Идёт в бездонную глубину.
Команда кричит и рыдает.
Но средь буйства стихии спокоен и строг
Капитан, ибо сделал он всё, что смог.
Последний приказ – и каюты капкан
Захлопнут. Бутылку вина капитан
За счастье родных осушает.
Трюм полон водою, и времени нет!
Перо и бумагу в руки
Берёт он и пишет последний привет
Фрахтовщику, детям, супруге,
Его по морскому закону и стилю
Доверя стеклянному брюху бутyli.
Письмо со вздохом закрывает он,
И через шлюз во чрево бурных волн
Летит в бутyli брошенной оно.
Корабль отправляется на дно.

• **Виталий Пинковский** – литературовед, доктор филологических наук, специалист по французской литературе. Работает в Северо-Восточном государственном университете (г. Магадан).

На солнечном пляже в далёкой стране
Детишки набрали прибрежных камней,
И солнце сияет у них в сердцах:
Не знают, что мать вспоминает отца,
Давно не писавшего писем,
И плачет от горестных мыслей.
Бутылка! бутылка плывёт по волнам,
Весёлые игры суля малышам!

Ах, как она блещет в прибое!
И мальчик неловкою детской рукою
За камешком камень швыряет легко.
Как радость лицо озарила светло:
Судёнышко брызжет разбитым стеклом
И тонет, укрывшись волною!

На дне милосердное море
Печальные вести сокроет...

НАСТРОЕНИЯ

Бессильной травинкой порой на вершины
Смотрю человеchi, напрасно надеясь
Понять, что сокрыто за рыком звериным
И непостижимостью тягот житейских.
Смерть шелестит предо мной, холодна и бледна,
Склябься хитро под гниющей листвою на земле.
Тщетна мольба, и бессильна надежда: она
Тает во мгле.

Порой же, как дуб, над землёй возвышаясь,
Смотрю я на тысячи жалких созданий,
С улыбкой на их копошенья взираю,
Расцветы ничтожные и увяданья.
В эти мгновения чую: могучие росы
Утренней свежестью тело ласкают моё.
Светит надежда и с птицею сладкоголосой
В небе поёт.

ЗВУКИ МАНДОЛИНЫ

Когда я слышу мандолину,
Мне кажется, что нежное созданье,
Гризетка-детка,
И зовёт, и манит.
Серёжки – ягодки малины,
И нимб её кудрей белес.

Смеясь, смеясь, идёт, босая,
И зубы нежные блистают,
Являя снежный блеск.
Потом
Несётся прочь проворным ветерком
Туда, по длинной,
Каменной, извилистой тропе,
Минувших лет долиной,
И собирает на клумбах сада
Милые розы – очей усладу, –
С десятков цветков прекрасных растений.
Несёт мне букетов сплетенья.
А я малышку и розы
Целую сквозь смех и слёзы,
Пока не исчезло виденье
И звук мандолины не смолк.

ПОМЕРКШИЙ ОБРАЗ

Образ, померкший от дыма и лет.
Мало кто вспомнит его с тех пор:
Из дальней тьмы пробивается свет.
Хладен, заснежен сосновый бор.

И в желании великом
Я иду за светом ровным
И, пылая жарким ликом,
За окно смотрю безмолвно.

Дружеский круг в вечерний час,
Двор, озарённый тусклой луной
И блеском девичьих волос и глаз.
Молодость, смех, золотое вино.

И бородачи на скрипке
Песни дальних стран играют.
И манят в мерцанье зыбком
Шелестящих платьев стаи.

Нежен росистых цветов аромат,
Ясен букетов алмазных вид,
И говорит пьяно-дикий взгляд
О верности, страсти и о любви.

Звука с цветом заплетенье,
Блекло-пенные картинки,
Образы из сновидений,
Прежней жизни фотоснимки.

ОБРЕЧЁННЫЙ

«Жизнь – для нас! – кричит она. – Так смейтесь!»
Чую: холодеет в жилах кровь.
В блеск мгновенья нынешнего – зов
Заплетётся гулких гонгов смерти.

И когда под звёздную корону
Верит, что незрима для меня,
Взгляд её ловлю вдали, который
Ей покой подарит, мой отняв.

Там, внизу, глубокий свет мерцает,
Уверяя: власть её не вечна.
С трепетом тревожным наблюдаю
Время бегства страхов быстротечных.

ВЕСТ-ИНДСКИЕ НОЧИ

В чашу мою наливай благородные вина!
Воспоминаний тревожа глубины, возьму я
Злато бесценное и дорогие рубины,
Дивные ночи вест-индские живописуя.

Я содрогаюсь от ужаса, рвущего душу
Голосом бурного моря и джунглей ревущих, –
Звуков и образов коих не ведал я прежде.

Знойной любви эдемовой тайная нежность,
Тьмы тишина и уютных костров трепетанье,
Пьяные выходки, звёздного неба сиянье,
Банджо задорные звуки и смех беззаботный,
Незабываемых песен глубокие ноты,
Тёмные волосы льются морской синевою,
Странные крики, и всхлипы, и стоны, и вои,

Грустный привет уходящим судам на прощанье,
Пьяная сладость цветущего благоуханья,
Ветви, луна, перепёлок пугливые стаи, –
Только иная картина мне сердце терзает.

Надо глазами столкнуться ещё ненадолго
С меркнувшим взглядом прекраснейшей в мире креолки.
Та умирает, кого не увижу я краше. –
Силы небесные, кто вас на свете жесточе! –
Друг, извини, я, похоже, разбил эту чашу.
О, не забуду вест-индские дикие ночи...

ЗВУКИ ДВУХ МИРОВ

Нежно пальцы по роялю
В беготне замороженной
Звуки вальсов заплетали,
Удовольствием рождённых.

А на улице, где ветер
Всякий звук в себя вберёт,
Напевали песню дети,
Как поёт народ.

Я стоял и слушал молча
Песни с двух сторон,
А потом, казалось, кончен
Дивный этот сон.

Им же было невдомёк
О прохожем возле лестниц,
Чьих слеза коснулась щёк,
Чьей души коснулась песня.

* * *

Как вор, пробрался сквозь квадрат окна я.
Там дева, словно ночи волшебство,
Среди подушек шёлковых, нагая,
Раскрыла юной плоти естество.

Она спала, обманутая снами,
Улыбку ей вложившими в уста,
И средь кудрей, струящихся волнами,
Игривый луч золотой огонь вплетал.

Но сердце билось, словно от мороза,
В груди моей, и, снег с ладоней сдвув,
Увядшую у ног увидел розу,
Что дева сорвала в своём саду.

У ног увидел розы цвет печальный,
Прекрасное созданье повидал. –
Я покидал нетронутую спальню –
Как будто в дивной сказке побывал.

Перевод с немецкого *Р. Адрианова*

*Из французской поэзии***ЖАН ПОЛОНИУС (КСАВЕРИЙ ЛАБЕНСКИЙ)
(1800–1855)****СТИХИ**

Ксаверий Ксавериевич Лабенский представляет собой редкий культурный феномен: этнический поляк, что подчёркивалось псевдонимом Jean Polonius (буквально – Иван Поляк); русский дипломат и патриот России; французский поэт, признанный на родине Вольтера одним из лучших авторов своего поколения. В России Лабенский известен в основном историкам дипломатии как автор книги, направленной против одиозного сочинения французского путешественника маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году». Книга Лабенского, изданная в Европе на французском и немецком языках, является образцом политической полемики в духе отечественной дипломатии – логичной, опирающейся на факты, безусловно вежливой по отношению даже к недружелюбному оппоненту. Некоторые положения книги (о природе власти в России, например) не устарели до сих пор и возвышаются до уровня социальной философии. В качестве поэта К. К. Лабенский в России известен только немногочисленным специалистам по французской поэзии. Мы устраняем эту несправедливость публикацией перевода одной из лучших од, написанных в рамках французского романтизма. Иксион, мифологический герой, наказанный за непочтение к Зевсу (у Лабенского – Юпитеру), трактуется как мученик, оплачивающий страданиями любовь к Прекрасному. Не исключено, что это первый перевод из Лабенского на русский язык.

*Виталий Пинковский***ИКСИОН**

На колесе неутомимом
 Несясь в воронке вихревой,
 Я вижу: буря жёлтым дымом
 Кружит под заунывный вой.
 Покорна страсти аквилона,
 Летит седых теней колонна,
 И гимны скорбные звучат.
 ...И колесо, неумолимо,
 Бежит, бежит неудержимо
 Сквозь бездну, где гроза и чад!

В выси витают стаей шумной
Создания гибельной красы.
О, кто вы? Гидры ль род безумный?
Юпитера ль цепные псы?
Я слышу шум во мгле тумана;
Мелькают спицы неустанно.
Я чувю: тянутся персты...
О, кто вы? Злые Эвмениды?
Примчались мне вспороть ланиты
Когтями жуткой черноты?

Мой страх невыразим! Взираю,
Как, поспешая, всё плывёт;
В пространстве без конца и краю
Цветов и форм круговорот.
Секут мой лоб мои же пряди,
Мозг пухнет, с черепом в разладе,
Грохочет сердце – хоть злословь.
Кручусь, пронзает боль колена,
А кровь, как под мутовкой пена,
То взбухнет, то осядет вновь.

Весь мир жесток ко мне! А прежде
Я пил нектар средь облаков.
И как-то раз в хмельной надежде
Схватил Царицу всех богов.
В порыве страсти вдохновенном
Я чувствовал: течёт по венам
Святой огонь её очей.
Мои уста пылали жадно.
Юноны призрак безвозвратно
Растаял, обратясь в ручей.

Вернись, вернись ко мне, родная,
Из Эмпирей, утешь, согрей.
Ты скрылась, тучка проливная,
Струя эфира, синь морей.
Глаза, подёрнутые влагой,
Взгляд, полный дерзостной отвагой,
И сластолюбницы черты,
Рук мановенья и объятье –
Всё это было лишь проклятье,
Насмешка, изворот мечты?

Иллюзия! Подруга-грёза!
Ты насылаешь сладкий сон,
Но фурией предстанет роза,
Когда очнёшься, пробуждён.
Ты нас ведёшь от берега к берегу,
Волною подхватя, с разбегу
Возносишь прямо в небеса,
Потом швыряешь безрассудно,
Мечты лишая; мы – что судно,
А жизнь – что узкая коса.

Другие люди горько стонут,
Когда разрушит жизнь мечту.
Я, памятью о прошлом тронут,
Ищу в обломках красоту.
Ярится буря ледяная –
Мечта к душе льнёт как родная,
А парус к мачте как родной.
Веселье было скоротечно,
Я время проводил беспечно,
Хотя и дорогой ценой!

Я счастье знал! И в ликованье
Похмелье правит торжество.
Я счастье знал! Богов деянья
Не вынудят забыть его!
Пусть злой Юпитер пути стянет!
Пусть он в былое длань протянет!..
Былое богу не стереть.
Оно, забвенью не подвластно,
Мне повторяет ежечасно:
Не может память умереть.

Вы зря яритесь, Эвмениды,
Круша бичами мой хребет,
Вы зря куражитесь, планиды,
Мой разум окуная в бред.
Любимая, твои лобзанья –
Сладчайшее воспоминанье,
Его и в муках я храню.
Бич свищет, крылья воздух режут,
Моих суставов страшен скрежет,
Ветра влачат меня к огню.

Тиран подземный и небесный,
Ты мыслил, что на колесе,
В цепях, унылый и безвестный,
Я духом упаду, как все?
Но дух не заковать в оковы,
Ему смешны твои покровы
И золотой кичливый трон.
Мой дух придёт в твои чертоги,
И с уст царицы-недотроги
Сорвать лобзание сможет он.

Я в страшной пропасти страдаю,
Куда ты вверг меня пинком,
Миры из мыслей создаю,
Ты и не грезил о таком.
Ты, господин своей богини, –
Раб сладострастия и гордыни.
Верховный бог и чудодей,
Ты зря, измученный пирами,
В душе найти стремишься пламя,
Что крепко жжёт сердца людей.

О, Громовержец, бог суровый!
Ты для чего вложил мне в грудь
Сей яростный огонь багровый,
Которого нельзя задуть?
Мой взгляд пленителен и ярок, –
Юпитер, это твой подарок,
Он весь Олимп очаровал.
Коль мне нельзя любить Юнону,
Зачем наперекор закону
Её красот ты не скрывал?

.....
Что ж, смейся, потирая руки!
Я стражду, крепко жизнь любя.
Ты покарал – я принял муки,
Я благоднее тебя.
Ты, облечённый высшей властью,
Снедаемый постыдной страстью,
На землю сходишь с высоты.
Я, смертный, созданный из праха,
Меж молний пролетев без страха,
Вкусил бессмертной красоты.

Перевод с французского *И. Ачкасовой*

АМАБЛЬ ТАСТЮ (1798–1885)

СТИХИ

Амабль Тастю (Sabine-Casimir-Amable Tastu) стала одной из первых профессиональных писательниц Франции эпохи романтизма, отчасти по необходимости: банкротство мужа-издателя заставило молодую женщину браться за любую литературную работу – вплоть до написания учебной литературы и переводческой подёнщины (Тастю переводила с английского, немецкого, итальянского языков). Очень известная в своё время, поэтесса воспринимается сейчас как «Забывтая муза» (название книги К. Пуссар-Жоли о Тастю, 1995 г.). С этим трудно согласиться полностью. Стихотворение «Листья ивы» (Les feuilles de saule) – одна из лучших романтических элегий XIX века. Проникнутый пафосом меланхолической иронии, этот текст посвящён вечной теме надежды на лучшее, живущей в душе вопреки реальности.

Виталий Пинковский

ЛИСТЬЯ ИВЫ

Был воздух свеж; последний день осенний
Сорвал венец, под шум древесных теней,
С лесных кудрей.
Я наблюдала свиты удаленье:
Ноябрь, свет солнца, жизнь неслись в смятенье,
Ветров скорей.

Я старый ствол руками обхватила,
Прочь оттолкнув, что только было силы,
Дурные дни.
На гладь воды, на редкие соцветья
Слетали листья, отливая медью,
Как искони...

К старинной иве подымаю руку,
Ветвь наклоняю, развевая скуку,
Ручей течёт.
Зелёные листочки обрываю,
Смотрю, как их, журча, струя живая
Вперёд влечёт.

Причудами смущают ум тревоги!
Я спрашивала листья-недотроги
Про свой удел.

Пока их уносила вдаль стремнина,
Я думала, что ведь и мне судьбина
Найдёт предел.

Виднелся лист неясно в дальней дали,
Его корабликом потоки мчали,
Струя несла.
Забил родник, ускорилось движение,
Исторгло лист: он потерпел крушенье...
Я не спасла!..

Я следом новый лист в ручей пустила,
Чтоб мне судьба о лютне возвестила:
Дерзну ль запеть?
Но чуда я, увы, ждала напрасно,
Взяла оракул буря самовластно:
Так как мне сметь?

Мою надежду вдребезги разбило,
Зефир унёс удачу легкокрыло,
Он скрылся с глаз.
Зачем же смутным силам мирозданья
Мне доверять заветное желанье
В который раз?..

Само себя винит за слабость сердце
И, слабое, приоткрывает дверцу,
Впуская страх.
Оно больно и верит предсказаниям.
Грозятся тучи страшным наказаньем,
Пророчат крах.

Из рук упала наземь ветка ивы,
Я побрела домой неторопливо,
Что ж, не сбылось.
Во снах до утреннего пробужденья,
Я у ручья искала провиденье
Под шёпот лоз.

Перевод с французского *И. Ачкасовой*

ИЗЯШНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ №1 (47) • 2025
Литературно-художественный журнал

Учредитель *С. А. Склейнис*

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01360 от 27.05.2013 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Адрес редакции: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская, д. 22, лит. В.
Тел. (812) 404-63-08, +79213249184.

Почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская 20, корп. 3-12.
E-mail: skleynis@ou.ru

Сайт журнала: <http://neisri.narod.ru/is/index.htm>

Оформить подписку и приобрести отдельные номера журнала можно в редакции.
Заказ по электронной почте: E-mail: skleynis@ou.ru

•

Корректор *С. Вершинина*
Компьютерная верстка *С. Ефимовой*
Фото на обложке *Е. Сапожникова*

•

Подписано в печать 25.07.2025 г. Гарнитура Букварная. Формат 70×100/16.
Усл-печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,7. Печать ризография. Тираж 300. Заказ 3538. Цена свободная.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета:
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 552-77-17, 550-40-14.